



“О ты, великомощно счастье!”

Роль обращения в русской поэзии XVIII века

© В. Б. СОРОКИН,

кандидат филологических наук

В лингвистике обращение не представляет собой какой-либо трудности в отношении определения его синтаксической роли. Оно может считаться частным случаем осложнения простого предложения, предполагающим пунктуационное выделение запятыми или иногда восклицательным знаком. Обращение грамматически не связано с членами предложения и также может быть употреблено вне его рамок. По своему составу обращения могут быть нераспространенными и распространенными. Этими немногочисленными сведениями, как правило, и ограничиваются их характеристики в энциклопедиях и учебных пособиях [1]. Гораздо интереснее взгляд на обращение с точки зрения его коммуникативных функций. “В фактическом общении, в речи близких людей, в разговорах с детьми обращение часто сопровождается или заменяется перифразами, эпитетами с уменьшительно-ласкательными суффиксами... Особенно это характерно для эмоциональной речи” [2].

Относительно стилистических возможностей замечено, что “на фоне разнообразных синтаксических средств обращения выделяются экспрессивной окраской и функционально-стилевой закреплённостью. Наибольший интерес представляет использование обращений литераторами.

Для создания эмоциональности речи писатели могут использовать как обращения слова с яркой экспрессивной окраской: *самовластный злодей*, образные перифразы: *О Волга, колыбель моя*. К тому же при обращениях часто стоят эпитеты, да и сами они нередко являются тропами – метафорами, метонимиями” [3].

Большой объем приведенной цитаты оправдан тем, что это одно из немногих подробных и точных наблюдений над экспрессивно-эмоциональной природой обращения, о котором пишут незаслуженно редко.

Обращение, несмотря на свои столь яркие и разнообразные возможности, все еще остается “золушкой” теоретической поэтики. В добавле-

ние к сказанному можно привести уточняющее определение С.П. Белокуровой: “Будучи по форме обращением, риторическое обращение служит не столько для называния адресата речи, сколько для того, чтобы *выразить отношение* к тому или иному предмету или явлению: дать ему *эмоциональную оценку*, придать речи необходимую автору *интонацию* (торжественность, сердечность, иронию и т.д.” [4].

Анализ поэтических текстов выявил тематические группы обращений, которые следует рассмотреть в русле развития жанров русской поэзии XVIII века.

Ведущей тематической группой обращений являются обращения к Богу, которые, естественно, необходимы в духовной лирике, переложениях псалмов, но стали одним из ключевых элементов жанрового канона торжественной оды, встречаясь также в элегиях, сонетах, посланиях, эпитафиях, надписях. Взывая к Богу, стихотворцы по мере развития поэтического языка и приемов выразительности шли от традиционного, почти обыденного возгласа (*Боже; О Боже; Господи*) к нахождению эпитетов и приложений все более и более авторских и оригинальных, вплоть до развернутых иносказаний: *О Боже праведный! Боже правый!*; *О Боже, твари всей создатель* (А. Нартов) [5. С. 148]; *О Боже, крепкий вседержитель!* (М. Ломоносов) [6. С. 191]; *О Боже! Мира бог!* (М. Ломоносов) [6. С. 226].

Развернутый перифраз о Боге ввел в стихотворение “Стяжателью сих книг последнее книгам целованье” Стефан Яворский [7]:

О Боже милосердный, о щедрот пучино,
Источник милости, благости вершино!
О царю веков, небес и земли веселие!

Созвучно велеречивой барочной традиции начала XVIII века обращается к Богу Ломоносов в Оде 1742 года “На прибытие... Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург” [6. С. 131]:

Творец и царь небес безмерных,
Источник лет, веков отец...

Наиболее развернутое перифрастическое обращение к Богу дано Г.Р. Державиным в Оде “Бог” (1784 г.) [8]:

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!
Дух, всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог.
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.

Неизменно присутствующее в оде воззвание к Богу демонстрирует в рамках развития жанра весь диапазон поэтики торжественного обращения.

Ода не ограничивается выпсренними обращениями к Всевышнему и монарху. Столь же традиционно для оды обращение поэта к музе, к собственным дерзким мыслям, восторгу, радости, что насыщает эмоциональное пространство произведения и приобщает автора к ценностной сфере изображаемых событий и героев.

В этом же ряду стоят обращения к поэтам-предшественникам, античным божествам, героям древности и славным предкам нынешних правителей. Все это составляет группу обращений к называемым персонажам поэтических текстов.

Именные обращения характерны и для посланий и эпитафий, где упоминаются реальные исторические лица. Иная группа именных обращений сформирована в идиллиях, эклогах, элегиях и песнях, где имена условны, как правило, иноязычны – заимствованы или стилизованы под греческие, позднее французские: Клариды, Пленеры, Темира, Эдельвина, Лизета и т.п. [9].

Замечательный пример перифрастического раскрытия образа в обращении дал В.И. Майков в посвященной А.П. Сумарокову “Оде о вкусе” 1776 года [10]:

О ты, при токах Иппокрены
Парнаасский сладостный певец,
Друг Талии и Мельпомены,
Театра русского отец,
Изобличитель злых пороков,
Расин полночный, Сумароков!

Отдельную тематическую группу составляют обращения к светилам, стихиям, силам природы, обозначающие диалог поэтов с Вселенной. Если в оде автор вознесен чувствами и воображением к вершинам мироздания и от имени монарха повелевает стихиям смириться, внимать и покориться воле правителя России, таким образом выражая свои патриотические чувства, то в эпитафиях и элегиях обращения к небесам и стихиям полны скорби и упреков, осуждения за непоправимую утрату счастья, любви, покоя, бесценной жизни дорогого человека.

В свидетели своих исключительно горестных переживаний в разлуке с любимой поэты призывают Солнце (“Эклога” С.В. Нарышкина, “Элегии” А.А. Ржевского и Е.А. Княжнина [9]).

Напоминанием о преемственности поэтики барокко и классицизма служат обращения к неодушевленным абстрактным понятиям: “О дар! Великий дар, от Бога данный нам, Надежда, ты наш век плачевный улаждаешь” (Е.В. Хераскова) [5. С. 157].

В знакомой одической манере, опираясь на опыт Ломоносова, Державин обращается к счастью:

Всегда прехвально, предпочтенно,
Во сей вселенной обоженно
И возжеленное от всех,
О ты, великомерно счастье!
Источник наших бед, утех,
Кому и в ведро и в ненастье
Мавр, лопарь, пастыри, цари,
Моляся в кущах и на троне,
В восклицованиях и в слове,
В сердцах их зиждут алтари [8. С. 124].

“Обоженность” счастья, как и “богоравенство” монарха, получает стилистическое подтверждение молитвоподобным обращением.

Таким образом, можно утверждать, что торжественная ода XVIII века выработала особый тип панегирического обращения, нередко равного по объему целой строфе, которая может открывать или завершать текст оды.

В противоположность оде элегия не использует обращений к Богу, в ней место высшей силы занимает рок, судьба, случай. Поэтика элегии несовместима с велеречивостью и напыщенностью, поэтому структура обращений более проста и лаконична: *О случай! О судьба! О лютая напасть!* Именно для элегии характерны обращения-упреки в адрес дня, часа, минут, когда случилось горестное расставанье: “О день несчастья, день горести моей! Жестокий час!” (П.И. Фонвизин) [9. С. 106]; “О час, противный час! И всех горчайший! Источник вечных слез! О час прегрешительнейший!” (И.А. Дмитриевский. “Элегия”) [9. С. 82].

Незримое присутствие Бога элегия обозначает благочестивым эвфемизмом “Небо”, “Небеса”.

Известно обилие буколических обращений к лугам, полям, овечкам, ручейкам, а также сентиментальное пристрастие к беседам с птичками.

И, наконец, нельзя оставить без внимания ключевую тематическую группу обращений, насыщающую тексты элегий и любовных песен, обращенных к предмету страсти. Имена собственные, как уже говорилось, здесь немногочисленны и условны. Иногда авторы придерживаются однажды выбранного вымышленного имени для лирической героини своих произведений, но в подавляющем большинстве случаев элегия и песня обходятся без имени собственного. Не считая простого *сердечного ты*, к числу наиболее распространенных следует отнести такие: *мой свет, дорогая*, но еще чаще *любезная, любезный*; лишь иногда *прекрасная* (А.А. Ржевский, Ф.Я. Козельский, Ю.А. Нелединский-Мелецкий). Простота обращений определяет естественность и душев-

ную близость общения, выявляя ценность искренних чувств и откровенных признаний.

Контрастна в эмотивном плане группа обращений к неверным возлюбленным: *изменница, неверная, несклонная, жестокая, лютая, тиранка, злодей*. Порицание измены, упрек в неверности, сожаление об охлаждении утверждают высшую ценность преданности, постоянства, верности в любви. Мотив измены и разлуки нередко связан в элегиях с призыванием смерти: “Приди, желанна смерть, скорей меня скоси” (А. Нартов) [9. С. 78]; “Поддай мне руку, смерть, и приведи к покою” (А. Сумароков) [9. С. 63]; “О сон! О сладкий сон! Покрой слезящи очи! Спокой меня, о смертный сон” (Ф. Козельский) [9. С. 111].

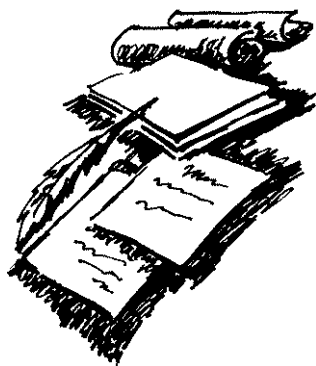
Однако истинной владычицей элегии и песни является любовь: *О! Страстная любовь! Любовь, о чувство приятно и напастью! О страсть мучительна!*

Стилистика и пафос сентиментального вздыхания перерастают иногда в почти романтическую страстность, неистовое отчаяние, гнев ревности, готовность к жертве.

Итак, во всех произведениях русской поэзии XVIII века обращения играют существенную роль в формировании настроения, раскрытии образов героев, выявляя эмоциональные и ценностные установки автора, организуя восприятие произведения в целом.

Литература

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для вузов. М., 2001. С. 168.
2. Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. Е.Н. Ширяева. М., 1998. С. 90.
3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. Учебное пособие для вузов. М., 1997. С. 40–402.
4. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006. С. 148.
5. Русская литература. Век XVIII. Т. 1. Лирика. М., 1990.
6. Ломоносов М.В. Избранные произведения. М.–Л., 1965.
7. Силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. М.–Л., 1963. С. 47.
8. Державин Г.Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 114.
9. Русская элегия XVIII – начала XX века. Л., 1991.
10. Поэты XVIII века. М.–Л., 1956. Т. 2. С. 94.



Черновики “Аквилона” А.С. Пушкина

© А. А. СМЕРНОВ,
доктор филологических наук

В основу стихотворения “Аквилон”, написанного в 1824 году, положен древний басенный сюжет: гордый дуб, кичившийся своим могуществом перед тонкой тростинкой, уничтожен налетевшим грозным вихрем-аквилоном, а гибкая тростинка, припавшая к земле, уцелела.

Пушкин сохранил почти все элементы сюжета и облек его в форму лирического стихотворения, сохранив эзоповский подтекст: “грозный Аквилон” (аналогия с Александром I) разогнал “бурны тучи”, низвергнул дуб, который “в красе надменной величался” (Наполеон). В пушкинской интерпретации басня об Аквилоне претерпевает определенные изменения: вырвав “величавый дуб” с корнем, Аквилон яростно обрушивается на “прибрежный тростник” (скрытая аналогия по отношению к поэту). Последнее четверостишие обращено к Аквилону:

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостью блистает,
И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.

Для более глубокого осознания смыслового состава стихотворения в тех случаях, когда это представляется возможным, имеет смысл обратиться к черновым материалам Пушкина, проследить тот путь, который произведение прошло от своего первоначального до окончательного варианта. По мысли С.Д. Селивановой, “пушкинская редактура не только улучшает текст, делает его художественно более совершенным, даже не только уточняет сказанное. Подчас она наполняет произведе-

ние новым смыслом, новым духовным содержанием” [1]. Обратимся к черновому варианту “Аквилона”.

Первоначально первая строфа в черновом варианте выглядела следующим образом:

За чем ты, грозный Аквилон,
Тростник болотный долу клонишь,
За чем на чуждый небосклон
Ты облачко так бурно гонишь.

В первом четверостишии стихотворения происходит изменение эпитетов: “тростник болотный” в первоначальной редакции Пушкин заменяет на “тростник прибрежный” в переработанном варианте. Таким образом достигается большая нейтральность смысла, уменьшается пренебрежительная характеристика, данная тростнику первоначально. Изменение эпитетов в третьей строке – *чуждый на дальний* – избавляет текст стихотворения от излишней конкретики. Четвертая строка (“Ты облачко так бурно гонишь”) в окончательном варианте звучит как: “Ты облачко столь гневно гонишь”, что свидетельствует об усилении экспрессии и переводит повествование в аллегорический план: аквилон приобретает антропоморфные психологические качества – способность быть грозным (“грозный Аквилон” в первой строке рассматриваемого четверостишия) и разгневанным. Поэт иронизирует по поводу сильного вихря: гнев и недовольство аквилона направлены всего лишь против незаметной тростинки. Сила и мощь, с которой Аквилон обрушивается на тростник, несоизмеримы самому объекту его гнева. За авторской иронией в первой строфе чувствуется аллегория: одержав победу над Наполеоном, Александр I не пренебрегает возможностью наказать поэта, выслав его в глухую деревню. Наказание не соответствует тяжести проступка. Окончательный вариант первой строфы выглядит так:

Зачем ты, грозный Аквилон,
Тростник прибрежный к долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облачко столь гневно гонишь?

Во вторую строфу Пушкин вносит сравнительно незначительные изменения: “бурные тучи” в первоначальном варианте заменены “черными тучами” в окончательном, что позволяет усилить негативный тон в восприятии *туч* – невзгод, нависших над страной в связи с нашествием войск Наполеона и подчеркнуть опасность, угрожавшую России. Это дает возможность в следующей строфе представить торжество Аквилона-Александра I над Наполеоном в выгодном свете: несмотря на серьезность приближающейся опасности, была одержана победа, вызы-

вающая мысли о могуществе русского императора. Вторая строка этой же строфы отмечена изменением наречия, определяющего характер действия “черных туч”: *глухо* Пушкин ставит вместо *мрачно*. Тучи как бы лишаются “личностного начала”, воспринимаются как нечто неодушевленное, теряют способность вести себя как живое существо, что придает опасности более угрожающий характер. Окончательный вариант второй строфы:

Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облекался,
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался.

Под “дубом”, отмеченным “красой надменной”, подразумевается сам Наполеон.

Заметим, что в пушкинских стихотворениях, посвященных этому историческому деятелю, “надменный” – один из наиболее часто встречающихся эпитетов, характеризующих императора Франции.

Обратимся к третьей строфе. Поскольку в процессе работы поэта над стихотворением очень многое было подвергнуто пересмотру, приведем сначала черновой вариант:

Ты черны тучи разогнал
Ты дуб низвергнул величавый
Ты прошумел грозой и славой
Ты долам солнце даровал.

Изменения проведены в основном на композиционном уровне: поэт меняет местами первую, вторую и третью строки, четвертая не входит в окончательный текст стихотворения, и вместо нее в самое начало строфы помещается новая строчка: “Но ты поднялся, ты разыграл”.

Эта строка органично сочетается с последующей (“Ты прошумел грозой и славой”), создавая, посредством троекратного повторения *ты*, ощущение единого эмоционального подъема. Аквилон словно поднимается до заоблачных высот и приносит освобождение от гнетущей напряженности глухо облекающих небо туч. В этой строфе актуализируются мотивы свободы в свете собственно романтического миропонимания: могущество разбушевавшейся стихии мыслится всеобъемлющим, готовым уничтожить все преграды на пути к абсолютному и полному освобождению. В заключительных строках третьей строфы местоимение *ты* заменяется на союз *и*: “И бурны тучи разогнал, И дуб низвергнул величавый”, что избавляет текст от чрезмерных повторов.

В черновом варианте сначала воспроизводятся действия сильного вихря – он разгоняет тучи и сокрушает *величавый* дуб, – а затем дается обобщенное описание этих действий и их конечный результат – увен-

чаный славой, Аквилон освобождает землю от власти тьмы и дарует ей солнце. Совсем иная последовательность в изложении событий представлена в окончательном тексте стихотворения: триумф Аквилонна предваряется описанием рождения недовольства в недрах разбушевавшейся впоследствии стихии, троекратно повторяющееся *ты* в первых двух строках усиливает эмоциональный напор, увеличивает напряжение, которое в конце концов разрешается его победой.

Черновой вариант последнего четверостишия первоначально звучит таким образом:

С тебя довольно – пусть блистает
Теперь веселый солнца лик
Пусть облачком зефир играет
И тихо зыблется тростник.

В процессе поиска нужных слов Пушкин последовательно отвергает три варианта: “Спокойся ж – снова пусть блистает Теперь веселый солнца лик”; “Спокойся ж – пусть теперь блистает веселый солнца лик”; “Отныне блистает Пускай веселый солнца лик”. Поэт останавливается на четвертом: “Пускай же солнца ясный лик Отныне радостью блистает”.

Пушкин все более и более устраняет свое участие в “усмирении” Аквилона: если в первоначальном варианте слышатся императивные интонации (“С тебя довольно...”), то в последующих угадывается просьба (“Спокойся ж...”) и, наконец, в окончательном варианте остается лишь пожелание (“Пускай же...”).

Примечателен также тот факт, что перекрестная рифмовка в четвертой строфе заменяется на кольцевую. В черновом варианте стихотворения аналогичное изменение претерпевает третья строфа, однако в процессе работы Пушкин оставляет в этом четверостишии перекрестную рифмовку, а кольцевую переносит в четвертую строфу, что акцентирует внимание читателя на завершающих строках “Аквилонна”, в которых содержится пожелание поэта, касающееся его дальнейшей судьбы. Оно представляется тем более значимым, коль скоро мы вспомним о цели, которую Пушкин преследовал при создании стихотворения: обратить внимание русского императора на несправедливость по отношению к поэту.

Обратившись к рукописному тексту “Аквилонна”, мы можем проследить последовательность создания стихотворения: изменение эпитетов в первой и второй строфе позволяет уточнить способ выражения идеи стихотворения, придать более или менее конкретный характер образной системе, подчеркнуть положительные и усилить отрицательные стороны описываемых явлений.

В результате творческой работы над первыми двумя четверостишиями “Аквилонна” грозным тучам придается более негативный, чем по-

началу, характер (изменение эпитета *бурные* на *черные*), малозаметная тростинка описывается менее пренебрежительно, чем в черновом варианте стихотворения (она получает эпитет *прибрежной* вместо *болотной*). Текст “Аквилона” избавляется от излишней конкретики посредством изменения эпитета *чуждый* (относящегося к небосклону) на *дальний* в первом четверостишии. В третьей строфе меняется порядок строк, и добавляются анафорические единоначалия, в результате чего стихотворение обретает стройную композиционную целостность. Изменения в четвертой строфе смягчают первоначально требовательный тон лирического героя (“С тебя довольно...”) до пожелания (“Пушай же...”), устраняя, таким образом, его участие в усмирении Аквилона.

Литература

1. Селиванова С.Д. Над пушкинскими рукописями. М., 1980. С. 20.



“И нам он сердце шевелит”

© О. П. ФЕСЕНКО,
кандидат филологических наук

Индивидуально-авторские новообразования, созданные “на случай”, называют окказионализмами. Критерием определения окказиональности фразеологической единицы служит, прежде всего, обращение к фразеологическим словарям.

Окказионализмы, как явление языковой системы, рождаются и живут в ее рамках и по ее законам. В этом смысле не являются исключением фразеологические окказионализмы А.С. Пушкина: “Христос запретил *метать бисер перед публикой*, на то проза – мякина” (письмо М.П. Погодину, первая половина сентября 1832 г.); “Чем мне тебя попотчевать? вот тебе мои бон-мо (*ради соли*, вообрази, что это было сказано чувствительной девушке, лет 26)” (письмо П.А. Вяземскому, 10 августа 1825 г.); “Веселятся до упаду и в *стойку*, т.е. на раутах, которые входят здесь в большую моду” (письмо П.А. Вяземскому, ок. 25 января 1829 г.) и др. [1] (Курсив здесь и далее наш. – О.Ф.).

Среди фразеологизмов в письмах А.С. Пушкина нас особенно заинтересовал *шевелить сердце* (созданный по аналогии с *трогать сердце*): “В эти минуты я зол на целый свет и никакая поэзия не *шевелит моего сердца*” (письмо П.А. Плетневу, из Кишинева в Петербург, ноябрь – декабрь 1822 г.).

Мы полагаем, что значение этого выражения соотносимо со значением *трогать сердце* – “волновать/взволновать, растрогать”.

Обращение к современным фразеологическим словарям, в которых в качестве иллюстративного материала к словарной статье чрезвычайно часто цитируется А.С. Пушкин (поскольку именно он считается в филологической науке “отцом” современного русского языка), показывает, что рассматриваемый нами фразеологизм не зафиксирован ни в одном из справочников.

Поскольку эпистолярные тексты Пушкина были созданы в начале XIX века, возможно, часть функционирующей в них фразеологии устарела с позиций сегодняшнего дня. Однако словари языка XVII, XVIII, XIX веков не содержат среди фразеологического материала выражения *шевелить сердце*.

Казалось бы, перед нами действительно фразеологический окказионализм. Однако уже после написания в 1822 году письма П.А. Плетневу у А.С. Пушкина в романе “Евгений Онегин” мы встречаем еще одно употребление этой фразеологической единицы:

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный.
И нам он *сердце шевелит*.

Обращение к текстам других авторов позволяет убедиться, что фразеологизм *шевелить сердце* употреблялся и ими. В письме И.И. Пущина читаем: “Совершенно неожиданно пришлось мне, добрая Наталья Дмитриевна, распространиться на вашем листке о таких вещах, которые только неприятным образом *шевелят сердце*” (письмо Н.Д. Фонвизиной, Ялуторовск, 6 января 1846) [2]. О степени освоенности этого фразеологизма свидетельствует и пример из стихотворения Ф.И. Тютчева:

Родись в народе мысль, зачатая веками,
Сперва растет в тени и *шевелит сердцами* –
Вдруг воплотилась и увлекла народ!..
(Ф.И. Тютчев. Из “Эрнани” <Гюго>)

У Аполлона Григорьева – этот же образ:

Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами *сердце шевелит*,
Дразня его язвительно! [3]
(А. Григорьев. Из цикла “Борьба”, 1857 г.)

“Дожил” этот фразеологизм и до XX века: к нему обратился В.В. Маяковский: “Но – кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам. Собирают деньги, *шевели сердце* плаксивыми сюжетцами” (Из декларации В.В. Маяковского “Кино и кино”).

Мы полагаем, что употребление фразеологизма *шевелить сердце* в художественных и эпистолярных текстах разных авторов позволяет отнести его к числу общепринятых, несмотря на то что в словарях он не зафиксирован. Возможно, что одним из первых его употребил А.С. Пушкин.

Литература

1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Письма. Л., 1979.
2. Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 220.
3. Григорьев А. Стихотворения и поэмы. М., 1989. С. 133.



Уловки Чичикова в диалогах с помещиками

© В. В. ФРОЛОВА

Поэма Н.В. Гоголя “Мертвые души” чрезвычайно интересна с точки зрения того, какими приемами хитроумный делец Чичиков добивается своей цели в диалогах с помещиками о покупке мертвых душ.

Цель делового диалога (к нему мы относим беседы Чичикова) – достичь выгодного решения вопроса. Особое значение приобретает знание особенностей собеседника, искусство аргументации и владение речевыми средствами. В таком диалоге используются особые приемы, помогающие достичь цели. Риторика определяет их как “эристические уловки” [1], “эристическую аргументацию” [2], поскольку изначально сфера применения этих приемов ограничивалась ситуацией спора. В античности “эристикой (от греч. *eristikos* – спорящий) называлось искус-

ство вести спор, пользуясь при этом всеми приемами, рассчитанными только на то, чтобы победить противника" [3]. В логике в их состав включаются софизмы [4], в лингвистической прагматике – языковые средства воздействия в не прямой коммуникации [2], речевые манипуляции.

Анализ различных классификаций подобных приемов позволяет сделать вывод об их комплексной природе, напрямую связанной с аспектом воздействия – логическим, психологическим или лингвистическим. Так, софизм, логическая ошибка, строится на нарушении логических законов; в "эристической аргументации" используются все виды аргументов: логические (к реальности, к разуму) и психологические (к авторитету, к личности)" [2], воздействующие на чувства собеседника: в основе речевых манипуляций – использование возможностей языка в целях скрытого воздействия.

Таким образом, к понятию "уловка" мы относим софизмы, логические и психологические аргументы, языковые средства, стилистические фигуры, особенности интонации и голоса. Говорящий использует их преднамеренно для достижения своих целей.

Диалоги Чичикова с помещиками насквозь пронизаны такими эристическими намерениями. Мы попытались последовательно описать типы уловок, которые применяет главный герой "Мертвых душ" для убеждения собеседника.

В диалоге с Маниловым он осторожно старается обозначить предмет своего интереса приданием двусмысленности понятию "живые": "не живых в действительности, но живых относительно законной формы". Сомнения преодолеваются ссылкой на закон ("Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке") и аргументом к выгоде ("Казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины"). Аргументация подкрепляется намеком на таинственные личные обстоятельства, который должен вызвать расположение собеседника: "Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе". Манилова убеждает уверенный тон Чичикова:

– Я полагаю, что это будет хорошо.

– А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, – сказал Манилов и совершенно успокоился".

Незатейливым, но подчеркнуто вежливым оказывается и диалог с Плюшкиным. Осторожность, использование неопределенно-личного предложения ("мне, однако же, сказывали") нацелены на сокрытие заинтересованности. Притворное сочувствие и удивление, ряд вежливых вопросов помогают герою узнать нужные сведения от собеседника: "Скажите! И много выморила? – воскликнул Чичиков с участием"; "А позвольте узнать: сколько числом?"; "Позвольте еще спросить..."; "Чичиков заметил, что неприлично безучастие к чужому горю, вздохнул тут же и сказал, что соболезнает". Тронутый этим, Плюшкин позволяет сыграть на чувстве собственной скупости: "соболезнование в

карман не положишь". Чичиков "постарался объяснить, что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати".

В диалоге с Ноздревым не помогают ни уверенность и непринужденность в начале разговора ("У тебя есть, чай, много умерших крестьян? Переведи их на меня"), ни ложь для сокрытия истинной цели — приобретение весу в обществе, женитьба, ни попытка заинтересовать деньгами:

— ... Не хочешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты, подлец, дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорош!.. что они у тебя, бриллиантовые, что ли?"

Эпитет в ироническом контексте употребляется с намерением обесценить предмет торга.

Ноздрев не убеждает ни попытка пристыдить жадностью ("Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение!"), ни зывание к долгу ("Ты бы должен просто отдать мне их") с использованием модально-сти долженствования.

Безрезультатной оказывается апелляция к чувству здравого смысла, именование мертвых душ "вздором", "всякой дрянью". Диалог, очередная забава Ноздрева, завершается потоком оскорблений.

Бессмысленные вопросы Коробочки ("Да на что ж они тебе?", "Да ведь они ж мертвые") вынуждают Чичикова применить в качестве уловки аргументацию выгоды и обещание содействия: "Я вам за них дам деньги. <...> избавлю от хлопот и платежа. <...> да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей". Повторение глагола "дам" и союза "да" усиливают воздействие.

С целью обесценить предмет использованы прагматический аргумент к пользе: "Что ж они могут стоить?", "Что ж в них за прок, проку никакого нет"; оценочное определение: "ведь это прах"; обращение к здравому смыслу с использованием фактов, конкретизации: "Примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно"; "Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь"; апелляция к чувству стыда: "Страм, страм, матушка! Кто ж станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?"; "Мертвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?". Аргументация усиливается повторением ("ведь это прах", "это просто прах") и образной антитезой: "Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена...а ведь это ни на что не нужно"; "потому что теперь я плачу за них; я, а не вы <...> я принимаю на себя все повинности".

Чичиков пытается победить сомнение Коробочки наглядностью понятия "деньги", используя аналогию с процессом производства меда. "Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну признайтесь почему пропали мед? <...>

Так зато (усилительная семантика. – В.Ф.) это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, сздили, морили пчел, кормили их в погребке целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а все синими ассигнациями”. Аналогия усиливается семантикой союзов, частиц, рядом однородных конструкций. Герою удается убедить Коробочку только случайно пришедшей в голову ложью о казенных подрядах.

Исключительным по насыщенности уловками является диалог с Собакевичем, воплощающим тип дельца, который в хитрости не уступает Чичикову. Герой начинает “очень отдаленно” с целью отвлечь внимание, расположить к себе собеседника с помощью лести, похвалы: “коснулся вообще русского государства и отозвался с большой похвалою об его пространстве <...> души, окончившие жизненное поприще, числятся наравне с живыми, что при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев <...> и он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность”.

Предмет разговора Чичиков определяет осторожно: “никак не назвал души умершими, а только несуществующими”. Собакевич следит за мыслью Чичикова, “смекнувши, что покупщик должен иметь здесь какую-нибудь выгоду”: “Вам нужно мертвых душ? извольте, я готов продать”.

Чичиков старается обойти вопрос цены (“это такой предмет, что о цене даже странно”: “мы, верно, позабыли, в чем состоит предмет”) и предлагает минимальную плату. Эмоциональное возражение Собакевича подкреплено антитезой: “Эк куда хватили! ведь продаю не лапти!”. Чичиков озадачивает его аргументом к реальности: “Однако ж, тоже и не люди”.

Собакевич, чтобы повысить цену, “оживляет” мертвые души подменной тезиса, усиливая ее образным сравнением, фразеологизмами: “Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы продал вам по двугривенному ревизскую душу?” (чтение мыслей, возражение наперед. – В.Ф.): “Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души, а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик”.

Чичиков пытается возвратиться к сущности предмета: “ведь это все народ мертвый <...> ведь души-то давно уже умерли, остался один несвязанный чувствами звук. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица”. Для повышения экспрессивности использует пословицу, повторяющиеся частицы усилительной семантики.

Новый довод Собакевича строится на антитезе, содержит риторические вопросы и восклицания: “Да, конечно, мертвые... Впрочем, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что за люди? Мухи, а не люди!”

Чичиков возражает аргументом к реальности и использует понятие “мечта”: “Да все ж они существуют, а это ведь мечта”. В ответ Собакевич распространяет подмененный тезис примерами и гиперболизацией, вкладывает в понятие нужное ему значение: “Ну, нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете ... машинища такая ... силища, какой нет у лошади ... хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!” Оценочные суффиксы, развернутое сравнение усиливают воздействие.

Чичиков пользуется “подмазыванием аргумента”, вызывая к наличию образованности: “Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности”, он пытается обесценить предмет посредством оценочной номинации: “Ведь предмет просто фуфу. Что ж он стоит? Кому нужен?”

Собакевич не чужд правилам логики, применяя аргумент *ad hominem* к человеку: (“Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен”). Попытку Чичикова сослаться на “обстоятельства фамильные и семейственные” он блокирует заявлением: “Мне не нужно знать, какие у вас отношения; я в дела фамильные не мешаюсь. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили. Право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!”

Попытка Чичикова сблефовать намеком на альтернативную покупку (“да я в другом месте нипочем возьму”) вызывает со стороны Собакевича довод-угрозу (“такого рода покупки не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной...”). Собакевич возмущен неподатливостью Чичикова и употребляет образное сравнение: “Право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа. Уж хоть по три рублика дайте!”

Аргумент к чувству стыда не приносит результата: “Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему”. Собакевич уступает, но, чтобы не показать поражения, прикрывает вынужденную уступку ссылкой на положительные стороны своего характера.

В своих беседах с помещиками Чичиков, сначала похвалами расположив собеседника к себе, обозначает предмет торга. Желая обойти вопрос цены, всячески занижает ее, доказывая бесполезность “мертвых душ”.

Его умение распознать слабые стороны своих собеседников позволяет ему применять к ним весь арсенал своих хитроумных уловок.

Литература

1. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1999.
2. Волков А.А. Курс русской риторики. М., 2001.
3. Логический словарь-справочник под ред. Н.И. Кондакова. М., 1975.
4. Асмус В.Ф. Логика. М., 2001.



О чем молчат герои “Дамы с собачкой” А.П. Чехова

© А. А. СТЕПАНЕНКО

Чеховеды много внимания уделяют паузам в пьесах Чехова, пытаются понять, что хотел сказать великий драматург молчанием своих героев. Заметим в этой связи, что М. Метерлинк, с именем которого связано возникновение так называемого “театра молчания”, предпочитал рассказы и повести Чехова, пьесы русского драматурга не вызывали его интереса [1].

Рассмотрим с точки зрения пауз и недоговоренностей рассказ “Дама с собачкой” (1899). Диалоги Гурова и Анны Сергеевны походят на диалоги в драматических произведениях Чехова, только слово *пауза* заменяется словом *молчание*. Впервые об этом упоминается уже в момент первой встречи героев:

“— ...Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного” (Курсив здесь и далее наш. — А.С.)

В словах, сказанных героями, ничего особенного нет. И дополнительный, тайный смысл знакомству придает фраза *помолчали немного*. Вспомним в связи с этим замечание М. Метерлинка о том, что слово могущественно, но есть нечто более властное, чем слово, и “...ошибочно думать, что одно лишь слово служит истинным общением между людьми” [2. С. 25]. Подобное общение без слов происходит и между чеховскими героями.

Обратимся вновь к эпизоду знакомства: “Она засмеялась. Потом оба *продолжали есть молча, как незнакомые*; но после обеда пошли рядом — и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить”.

В этой фразе содержится большая подтекстовая глубина, которая становится особенно ощутимой при помощи сравнения “как незнакомые”. Герои молчат, но мы не сомневаемся, что они уже чувствуют себя близкими людьми. М. Метерлинк считает молчание большой ценностью, оно “...восходит из бездны жизни”, только в молчании человек по-настоящему открывается другому человеку, предстает таким, какой он есть без прикрас: “Когда уста засыпают, просыпаются души и начинают действовать, ибо молчание – стихия, полная счастья, неожиданностей и опасностей, в которых душа свободно владеет собой. Когда вы захотите отдаться кому-нибудь вполне – молчите; и если вы боитесь молчать с ним – бегите от него, ибо душа ваша знает, как надо поступить...” [2. С. 28].

Герои молчат, но психологические процессы в их сознании продолжают, и мы чувствуем это, хотя Чехов ничего не говорит. Гуров и Анна Сергеевна не боятся молчать друг с другом и не сомневаются в том, что встретятся снова. Еще раз убеждаемся в этом, читая следующие строки: “Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть”. Молчание как будто решает дальнейшую судьбу героев.

Повторимся: упоминание о молчании героев рождается лишь в те моменты, когда Гуров и Анна Сергеевна находятся рядом. Это свидетельствует о том, что молчание связано только с их чувствами и конкретными психологическими состояниями.

Анна Сергеевна молчит во время прогулки на мол:

“Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже *молчала* и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

– Погода к вечеру стала получше, – сказал он. – Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила”.

После того как произошло сближение героев, “прошло по крайней мере полчаса в *молчании*”. Метерлинк пишет: “Молчание – солнце любви, и на этом солнце вызреют плоды нашей души, как зреют на видимом нам солнце плоды земли” [2. С. 30]. С одной стороны, герои обдумывают, что произошло, а с другой – для них и так все ясно, в лишних словах они не нуждаются. Молчание только соединяет их еще больше. И хотя Гуров еще не догадывается, что к нему пришла любовь, молчание говорит за него: он полюбил по-настоящему, только еще не осознал этого.

“В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви. смотрели вниз на море и *молчали*...”

– Роса на траве, – сказала Анна Сергеевна *после молчания*.

– Да. Пора домой”.

Взволнованные встречей, они молчат, не зная, что сказать друг другу, во время их кульминационной встречи в театре:

“В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

– Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. *Оба молчали.* Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом”.

Психологические состояния героев “Дамы с собачкой” Чехов не изображает открыто, он лишь намекает на них, предоставляя сделать читателям собственные выводы.

“... У каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь”. Такой “тайной” Чехов окутал молчание своих героев, описывая чувства Гурова и Анны Сергеевны.

Литература

1. *Магд-Созн К.* Метерлинк и Чехов // Вопросы литературы. 1991. № 1. С. 371–376.
2. *Метерлинк М.* Полн. собр. соч. Пг., 1915. Т. 2. С. 25.

“Друг друга отражают зеркала”

О языке поэзии Георгия Иванова

© Е. А. КАЦ

В ранний период творчества Георгий Иванов пишет стихи, которые его современники признают прекрасными образцами поэзии, но замечают иногда, что образцовость эта несколько скучна и мало или совсем ничего не говорит о чувствах, мыслях, индивидуальности молодого поэта. Многим казалось, что стихи эти слишком гладкие, слишком похожие на любую хорошую поэзию. О позднем периоде такого уже не говорили: новые качества выделяют стихи Г. Иванова в ряду других. Одно из таких необычных свойств последнего подготовленного самим автором сборника “1943–1958. Стихи” [1] состоит в появлении языкового эксперимента.

Вот пример такого эксперимента в грамматике:

“Желтофиоль” – похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне – безмолвие и боль.
И, подчиняясь рифмы произволу,
Мне все равно – пароль или король.

(«“Желтофиоль” – похоже на виолу...»)

В строфе речь идет о таком принципе подбора слов в стихотворении, который основан прежде всего на звуковом подобии, об игре с эффектами паронимической аттракции, когда происходит поиск общих элементов в значениях слов из-за сходства в их звучании. На лексическом уровне этот принцип иллюстрируется в том числе выбором между *пароль* и *король*. Неважно, какое слово подобрать, главное – чтобы оно вписывалось в избранную цепочку рифм: *канифоль* – *боль* – *король* (плюс внутренние рифмы – *желтофиоль* и *пароль*). Но в строфе, кроме рифм на *-оль*, есть три рифмы на *-олу* (*виолу*, *Эолу*, *произволу*): и подчинение их “произволу” демонстрируется еще и вольным обращением с деепричастным оборотом: *подчиняясь рифмы произволу, мне все равно...* В русском языке местоимение, обозначающее субъекта чувства, в дательном падеже (*мне*) “не может контролировать деепричастие” [2]. Такие конструкции встречаются, но, по-ви-

димому, все же осознаются как существующие на грани нормативности (см. [3]).

Семантический эксперимент:

Вот более иль менее
Приехали в имение.
Вот менее иль более
Дорожки, клумбы, поле и
Все то, что полагается,
Чтоб дачникам утешиться:
Идет старик – ругается,
Сидит собака – чешется.

И более иль менее
На всем недоумение.

(“Вот более иль менее...”)

Тему стихотворения можно обозначить повторяющимся в нем словом *недоумение* (“состояние, вызванное непониманием, неясностью чего-л.”, “затруднение, сомнение, возникающее из-за чего-л. неясного, непонятного” [4]). В разных вариантах присутствующее в тексте выражение *более или менее* (“до известной степени, отчасти” [4]) с первых же строк используется с нарушением норм общелитературного языка. Ненормативность “Вот более иль менее Приехали в имение” ощущается сразу и значительно усиливает создающееся ощущение недоумения. Почему так происходит?

События, которые в нормальной картине мира могут быть восприняты только однозначно (или приехали, или нет), показываются как неопределенные. “Более или менее” относится в стихотворении к событийному предикату и к предикатам тождества. Событийный предикат, действие – *приехали*. “Приехать ... прибыть куда-л., достичь какого-л. места...” [4]. Результат действия “приехать” – оказаться в каком-либо месте. Но “оказаться где-либо более-менее (т.е. частично)” невозможно. Тот же ход рассуждений можно применить к предикатам тождества (*вот ... дорожки* – т.е. “вот это, что я вижу, является дорожками”): невозможно являться чем-то частично (“Вот менее иль более Дорожки, клумбы, поле...”).

Строятся языковые конструкции, которые невозможно ясно понять. У читателя вызывается ощущение недоумения, аналогичное тому, которое описывается в стихотворении.

Чем оправданы такие эксперименты? Рассмотренные выше отступления от нормы иллюстрируют содержательный план стихотворения. В обоих случаях имеет место изоморфизм – “соответствие в структуре лит<ературного> текста между планом содержания и планом выражения; в более широком понимании – корреспондирование друг другу раз-

ных уровней произведения” [5]. Проявления изоморфизма, или иконизма, иконичности, для поэтического текста вполне традиционны. Здесь имеется в виду предложенный Ч. Пирсом принцип выделения иконических знаков – “на основе подобия означающего и означаемого” [6]; изоморфизм также называют иконизмом, последнее представляется более удачным, так как изоморфизм обозначает широкий ряд явлений и во внутренней форме менее связан с созданием образного представления, которое имеет место в подобных случаях. На фонетическом уровне в таких случаях обычно говорят о звукоподражании. Например, в стихотворении Б. Пастернака “Музыка” в строках “По крышам городских квартир Грозой гремел полет валькирий” согласные отчасти имитируют звучание оперы Вагнера, а отчасти – грозы. Известны и проявления иконизма в синтаксисе. Так, в XXXVIII строфе седьмой главы “Евгения Онегина” впечатление проносащихся мимо возка московских улиц передается длинным рядом коротких однородных членов (“Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри...” и т.д.). Говоря о фонетических явлениях, Б.В. Томашевский замечает, что “факты звуковой организации речи ... еще недостаточно изучены, чтобы можно было построить стройную теорию эвфонии” [8. С. 98], а комментаторы процитированного издания 1996 года (С.Н. Бройтман при участии Н.Д. Тамарченко) добавляют: “Такая теория до сих пор не создана...” [8. С. 315]. Проявления иконизма в рассматриваемом сборнике Георгия Иванова расширяют и дополняют наши знания об этом принципе создания образа. Особенно интересны такие факты в области звукописи, не равной звукоподражанию, а также иконизм на других языковых уровнях.

1. Фонетический уровень.

Солнце село, и краски погасли.
Чист и ясен пустой небосвод.
Как сардинка в оливковом масле,
Одинокая тучка плывет.

Не особенно важная штука
И, притом, не нужна никому,
Ну, а все-таки, милая тучка,
Я тебя в это сердце возьму.

Много в нем всевозможного хлама,
Много музыки, мало ума,
И царит в нем Прекрасная Дама,
Кто такая – увидишь сама.

(“Солнце село, и краски погасли...”)

Первая строфа представляет повседневность, “грубую реальность”. Во второй строфе происходит переключение из реальности во внутрен-

ний мир “я” (“Я тебя в это сердце возьму”). И неожиданно этот мир оказывается устроенным по-другому: в нем царит любовь (*Прекрасная Дама*), которая освещает все музыкой и поэзией (*Прекрасная Дама* – это и отсылка к Блоку). Разговорность не исчезает (*всевозможного хлама, увидишь сама*); иначе, вероятно, возникла бы отчужденность. Но появляется музыкальность.

Эта музыка слышна читателю. Двум посвященным ей строкам музыкальное звучание придает анафора (*Много в нем... Много музыки...*), ассонанс и аллитерация: на 8 фонетических слов приходится 4 ударных [о] и 3 ударных [а], при этом в каждом фонетическом слове повторяется звук [м]. Фонетический уровень – уровень звука. И он ярко выделяется именно тогда, когда речь идет о музыке.

2. Синтаксический уровень.

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность поражения.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.

(“Друг друга отражают зеркала...”)

Здесь идея отражения проявляется в синтаксическом параллелизме второй и третьей строфы и в самом “зеркальном” построении этих строф, основанном на противопоставлении: в каждой строфе одна строка – отрицание, другая – некое утверждение.

К этому же разделу относится первый разобранный пример («“Желтофиоль” – похоже на фиолу...»).

3. Семантический уровень.

Теперь, когда я сгнил и черви обглодали
До блеска остов мой и удалились прочь,
<...>

Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья...

(“Теперь, когда я сгнил и черви обглодали...”)

В первой же строке возникает расслоение лирического субъекта на умершее “тело” и некое сохранившееся “я”, мыслящее и говорящее. Здесь проявляется двойное зрение, упомянутое во второй строфе.

Мелодия становится цветком,
<...>

Проходит тысяча мгновенных лет,
И перевоплощается мелодия

В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик. в “Ваше благородие”,
В корнета гвардии – о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
– Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

(“Мелодия становится цветком...”)

В стихотворении постепенно реализуется идея перевоплощения. Сначала в тексте появляются отдельные детали, отсылающие к возможному восприятию внешнего облика и к биографии М.Ю. Лермонтова (*тяжелый взгляд, сиянье эполет, рейтузы, ментик...*). Читатель уже может начать догадываться, что речь идет о конкретном человеке. Затем появляются отдельные слова – аллюзии на лермонтовские тексты (*Туман... Тамань...*). Они переходят в точную цитату (“Пустыня внемлет Богу”). И, наконец, прямое название: в текст стихотворения входит зримый образ (“И Лермонтов один выходит на дорогу”) – воплощение музыки (“Серебряными шпорами звеня”).

Важно обратить внимание на отношение к языку, которое проявляется в проанализированных текстах. Как обычно и бывает у Георгия Иванова, приемы, связанные с иконичностью, в последнем прижизненно составленном сборнике не кажутся резко выделяющимися, авангардистскими. Два эксперимента на грани нормативности не нарушают общего впечатления – связи стихотворений сборника с классической поэтической традицией. Исследование иконических приемов в широком поэтическом контексте позволит больше сказать об этой связи, пока же ограничимся указанием на то, что их выделение позволяет лучше понять процессы эволюции внутри поэтического идиолекта Георгия Иванова и увидеть один из принципов организации его стихотворений.

Литература

1. Иванов Г.В. Стихотворения. СПб., 2005.
2. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001. С. 332.
3. Ицкович В.А. Очерки синтаксической нормы. М., 1982. С. 140–141.
4. Словарь русского языка: В 4 т. Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981–1984.
5. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 119.
6. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М., 2000. С. 168.
7. Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: В 11 т. Т. II. Спекторский. Стихотворения 1930–1959. М., 2004. С. 174–175.
8. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.



Символика имен и фамилий в пьесах А.Н. Арбузова

© Н. Ю. ТУРОВСКАЯ

“Говорящие” имена и фамилии давали своим героям многие драматурги. Вспомним Фонвизина, Грибоедова, Сухово-Кобылина, Островского, Чехова. Все имена и фамилии в пьесах ведущего драматурга 60–80-х годов XX века Алексея Николаевича Арбузова несут в себе не только глубокую содержательную функцию, но и свидетельствуют о его стремлении упорядочить окружающий мир, гармонизировать отношения между людьми. Поскольку в жанровом отношении он писал преимущественно мелодрамы, то мог позволить себе наделять героев яркими, необычными именами (Иветта, Христофор и др.) Они только подчеркивали непохожесть этих персонажей на других, ведь чаще всего автор любил показывать людей из мира искусства (опереточных примадонн, артисток цирка, поэтов, художников, модельеров). Однако даже герои более “земных профессий” в его пьесах имеют символические имена, которые не только выражают их внутренний мир, но зачастую и определяют их поступки.

В пьесе “Таня” (1938) женщина, которая после первой же встречи словно околдовывает Германа, не случайно носит фамилию Шаманова – от слова “шаман” (колдун), а фамилия самой Тани – Рябинина, что тоже вполне объяснимо: рябина в России всегда была символом нежности, женственности и обманутой девичьей любви (“Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?”). В пьесе “Двенадцатый час” вузовец Иван Улыбышев тоже соответствует своей фамилии: он открыт, доверчив, любит жену и улыбается новому миру, который принесла революция. В пьесе “Сказки старого Арбата” (1970) остроумный мастер кукол – шутник и

любитель розыгрышей не зря зовется Балясниковым, ведь в Словаре Даля *балясить, балясничать* означает “шутить, балагурить”.

Главную героиню зовут Виктоша, хотя вскользь автор говорит, что ее полное имя Виктория. С формальной точки зрения, перед нами типичный пример народной формы имени (производной от документального), образовавшейся в сфере разговорной речи. Таких уменьшительных образований с разнообразными основами и суффиксами существует большое количество. Но с точки зрения драматического характера, Виктоша и Виктория – два абсолютно разных человека. Виктория (что в переводе означает “победа”) – это, скорее, женщина-эмансипе, всегда добивающаяся того, чего хочет. В то время как Виктоша у Арбузова – мягкая, женственная, принимает тяжелое для себя решение уехать из дома Балясникова, когда понимает, что ее одновременно любят и отец, и сын, и что, выбрав одного, она нанесет огромную душевную травму другому. В пьесе “Счастливые дни несчастного человека” (1968) последнюю любовь главного героя зовут Настенька – уменьшительное имя от Анастасии, что означает воскрешающая, возрождающая. И действительно, именно Настеньке удастся на какое-то время вернуть к жизни разочаровавшегося и запутавшегося Крестовникова, явившись для него буквально как свет в конце тоннеля. Неслучайно Настенька всегда было самым распространенным именем героинь русских народных сказок, которые несли людям добро и свет, но и сами нуждались в защите и заботе. Крестовников не сумел этого сделать, и навсегда потерял любовь Настеньки.

Еще одно необычное имя – Лика – выбрано автором для главной героини в пьесе “Мой бедный Марат” (1964). Выбор имен для двух других главных героев вполне понятен. Подразумевается, что Марат – это сила, отвага, мужество, этаким французский революционер, имя которого у всех на слуху. Другой герой, Леонидик – не Леонид и даже не Леня, потому что он – самая слабая фигура в их трио, а значит, для него – уменьшительно-ласкательное имечко, каким, возможно, его называла мама – Лика. Почему же ее зовут Лика? Ведь в пьесе упоминается, что на самом деле она – Лидия Васильевна, следовательно, уместнее ей было быть Лидой, в крайнем случае – Лидочкой. Если мы предположим, что Лика – от слова *лик*, то сразу же возникнет ассоциация с чем-то светлым, струящимся, иконописным и материнским, потому что Арбузов сделал ее, в первую очередь, не возлюбленной для своих героев, а матерью. С материнской заботой, жалостью и желанием защитить, закрыть собой от житейских невзгод относится Лика к двум “большим детям” – Марату и Леонидику. А следовательно, Лика для героини уже больше чем просто имя – это олицетворение ее характера, ее миссии.

Не менее символично и имя главного героя в пьесе “Жестокие игры” (1978) – Кай. Его нелегко отыскать в словаре имен. Зато сразу вспоминается сказка Андерсена “Снежная королева”, в которой так

звали маленького мальчика, в чье сердце попал осколок волшебного зеркала, сделавший его жестоким и равнодушным к чужому горю. У Арбузова Кай – сначала тоже молодой циник, жестокий и черствый, живущий в своей квартире как в заброшенных ледяных чертогах, и лишь к финалу он “очеловечивается” благодаря своей “Герде” – Неле.

Анализ имен в пьесах А. Арбузова позволяет нам лишний раз убедиться в глубочайшей продуманности всех компонентов его драматических произведений.

Литература

1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
2. Супранская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.
3. Таицкий В. Место ономастики среди других гуманитарных наук // Вопросы языкознания. 1961. № 2.
4. Чичагов В.К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий. М., 1959.
5. Арбузов А.Н. Избранное: В 2-х т. М., 1981.



Мифологизация северной природы в прозе О. Куваева

© Р. В. ЕПАНЧИЦЕВ

“Олег Куваев – один из самых ярких представителей литературы о российском Севере, как теперь принято говорить, знаковая фигура в литературном процессе семидесятых годов” [1].

В статье, посвященной повести “Тройной полярный сюжет”, Т. Иенсен отмечает “некоторую высокопарность, вычурность стиля”, иногда встречающуюся в пейзажных зарисовках, добавляя при этом, что “автор прекрасно знает быт геологов, эвенков, тундру, гусиную охоту, и знание это не холодное, а любовное, исполненное поэзии” [2].

Интересные наблюдения сделаны М. Юриной: “Чукотка рисуется Куваевым как земля, исполненная тайны, сакрального смысла. Пейзаж, созданный в реалистических традициях К. Паустовского и Ю. Каза-

кова, вдруг оживляется неожиданными ассоциациями, яркими эпитетами, простыми и развернутыми сравнениями. Воображению читателя предстает “мыс, похожий на хищную птицу, когда она уже над самой землей, выпустив когти, готовит клюв”; пар, поднимавшийся от “древней земли”, “как дым благодарственных молебнов”; лед: то “чертовски голубой, как море на курортных проспектах”, то “трупно-серый”, то “похожий на издыхающую черепаху”, то на “нездешнего мира вещество...” [3].

Продолжая рассуждения этого исследователя о “сакральности”, “таинственности” изображаемого О. Куваевым художественного пространства, отметим его мифологизацию. Оно не только и не столько фон для развертывания событий. Север получает коннотативные свойства, оказывается связанным с ценностными ориентирами писателя.

Способы мифологизации художественного пространства можно разделить на языковые и неязыковые. К первым относится использование эпитетов, выражающих мистическую власть Севера над человеком, долгое время прожившим на данной территории.

Это проявляется, например, в рассказе “ВН-740”: “Мы припомнили массу примеров, когда человек, прожив здесь [на Севере. – Е.Р.] полтора десятка лет и уехав в полном здоровье, быстренько умирает на собственной даче от жары с непривычки, от *колдовской* тоски по бледному цветущим глухим землям” (курсив здесь и далее наш. – Е.Р.) [4]. Выделенный эпитет указывает на иррациональную, необъяснимую, мистическую природу сильного чувства, вызванного воздействием Севера. Еще один пример этого же эпитета, на этот раз из повести “Весенняя охота на гусей”: “Колдовская власть тундры входила в него через багровые закаты над хребтом Пырканай, утреннее умывание в холодной воде Китама, стук дождя в окно избышки и сернистый запах прибрежных озер на охоте” [5. Т. 1. С. 255]. Здесь *колдовская власть тундры* также указывает на рационально непостижимую притягательность этих мест.

Мифологизация способствует изображению Севера как пространства, совершенно непохожего на земное. Передавая свое впечатление от природы Севера, рассказчик из повести “Не споткнись о полярный круг” сообщает: “Мы видели, какими бывают *лунные кратеры*, мы видели *марсианские закаты*... мы видели горную Чукотку” [6. С. 39].

С лунным пейзажем ассоциируется Север в сознании главного героя повести “Тройной полярный сюжет”: “Обдутые ветром горные хребты уходили куда-то за тысячи километров. Между хребтами сверкали извивы безлюдных рек. По долинам растекались рыжие россыпи лиственничной тайги. И совсем рядом проплывали черные камни безжизненных горных вершин. – *Луна!* – сказал сам себе Сашка. – *Луна!*” [5. Т. 1. С. 346]. Сильное впечатление главного героя от увиденного передано с помощью повтора назывного восклицательного предложения.

Заметим, что сравнение Севера, в частности Чукотки, с иной планетой не ново. Приведем цитату из письма В. Тана-Богораза, который

охарактеризовал этот край так: “особая планета, даже менее зависимая от земли, чем луна, совершенно чуждая ей глыба льда, брошенная в безвоздушном пространстве и застывшая без движения над бездной, где всякая случайная жизнь замерзает и задыхается” [7. С. 42].

К другому способу мифологизации художественного пространства относится олицетворение. В повести “Дом для бродяг” олицетворяется просто *Река*, наделяемая все той же мистической властью.

Герой-повествователь долгое время мечтал совершить плавание по Реке, привлекавшей его своей малой освоенностью. По прошествии многих лет ему удастся реализовать свое намерение: “... спустя годы Река неожиданно напомнила о себе. Она стала мерещиться чуть ли не наяву, как что-то очень важное, что нельзя больше откладывать, как нельзя долго откладывать мечту, чтобы мечта не засохла. *Я вдруг понял, что просто надо на Реке быть*” [5. Т. 2. С. 11]. В этом также проявляется иррациональная власть пространства: необъяснимое озарение заставляет главного героя отправиться в плавание, сознательные причины отсутствуют.

Олицетворение Реки осуществляется с помощью речевых оборотов, выражающих “взаимоотношения” повествователя с ней как с живым существом: “мы остались с Рекой с глазу на глаз”, “и в этот момент я начал понимать Реку” [5. Т. 2. С. 29–30]. Само по себе наименование локуса – превращение нарицательного существительного в имя собственное *Река* – является средством не просто олицетворения, но и символизации. В повести достаточно много точных географических координат, даже без комментариев можно легко определить, что под Рекой подразумевается конкретный географический объект – река Омон. Но просто Река становится у писателя символом северной природы.

Зачастую мифологизация пространства осуществляется через сюжет произведения.

Тема преобразования характера человека вследствие влияния суровых условий Севера раскрывается в повести “Весенняя охота на гусей”, в ней отмечается воспитательное воздействие этой природы, непосредственно связанное с какой-то необъяснимой мистической властью данного пространства. В повести происходит духовное преобразование главного героя – Саньки Канаева, который из мелкого жулика превращается в честного человека. Он обретает свое место в мире, приходит к осознанию роли “людей, приспособленных для грузовика” – первопроходцев Севера. Канаев остается в этих местах, сам “впитывая” лучшие качества этих людей, которым чуждо все мещанское; романтиков, не способных жить в цивилизованном мире; людей, для которых собственное благополучие не является главной целью в жизни.

В рассказе “Здорово, толстые!” высказывание повествователя выражает идею о невозможности существования на этой земле плохих людей: “Надо быть мелким до чрезвычайности человеком, чтобы по-

сле нескольких лет, проведенных в тундре или тайге, оставить их без сожаления и сразу. Но что там ни говори, *мелкие люди редко встречаются в таежных поселках. Их туда не заносит*" [5. Т. 1. С. 157–158].

Об этом мифологизированном представлении говорят и другие: "Север ... производит отбор человеческого материала" [8].

О мифологизации художественного пространства Севера в прозе О. Куваева можно говорить на собственно языковом и на сюжетно-композиционном уровнях.

Литература

1. Бурыкин А.А. Проза Олега Куваева в контексте современной русской литературы последней четверти XX века // Творческая индивидуальность писателя: традиции и новаторство. М., 2003. С. 15.
2. Иенсен Т. «Винноваты "розовые чайки?"» // Литературное обозрение. 1974. № 2. С. 33.
3. Юрина М.А. Особенности стиля ранних повестей О. Куваева // Идеи, гипотезы, поиск... Магадан, 1998. С. 198–199.
4. Куваев О.М. Чудаки живут на Востоке. М., 1965. С. 196.
5. Куваев О.М. Избранные произведения: В 2-х т. М., 1988.
6. Куваев О.М. Избранное: В 3-х т. Магадан, 2000. Т. 3.
7. Кулешова Н.Ф. В.Г. Тан-Богораз. Жизнь и творчество. Минск, 1975.
8. Шпрыгов Ю.М. Молодость Дальнего Севера. М., 1984. С. 261.



Усеченные прилагательные в русской поэзии

© А. С. КУЛЕВА

Использование усеченных прилагательных считается характерной чертой языка поэзии XVIII века, например: “Поля покрыла *мра́чна* ночь; Взошла на горы *черна* тень; *Несчетны* солнца там горят” (М. Ломоносов) [1]. (Курсив здесь и далее наш. – А.К.) Эти прилагательные находили отражение в филологических трудах поэтов XVIII века Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, в научной литературе XIX–XX веков (например, в работах В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, В.М. Живова), упоминаются в учебной и справочной литературе. Анализ различных точек зрения позволяет определить усеченные прилагательные как особого рода краткие прилагательные (восходящие к древним именным прилагательным), использующиеся в языке поэзии в атрибутивной функции (в именительном и в некоторых косвенных падежах).

Принципиальное отличие усеченных форм от кратких можно свести к следующему. Тогда как краткие предикативные формы в современном русском языке можно образовать только от качественных прилагательных и страдательных причастий, усеченные формы образуются и от слов других разрядов: относительных прилагательных (*бумажны* горы), форм превосходной степени прилагательных (*яснейша* дня), дей-

ствительных причастий (кораблю *бегущу*). В отличие от кратких прилагательных, усеченные прилагательные склоняются, хотя и не имеют полной парадигмы склонения. Они, как правило, сохраняют ударение на основе, тогда как в краткой форме ударение переносится на окончание (*мра́чна* ночь, но ночь *мрачн́а*). В усеченных страдательных причастиях помимо ударения может сохраняться и *ни* в суффиксе (*пронзённы*, *венчанны*). Важнейшее различие заключается в том, что краткие прилагательные выступают только в предикативной функции, а усеченные – в атрибутивной [1, 2]. Кроме того Г.О. Винокур как одно из доказательств искусственного происхождения усеченных форм рассматривает их употребление в значении субстантивированных прилагательных [2. С. 252–253].

Именно эти отличия традиционно упоминаются как черты, доказывающие искусственность усеченных прилагательных. Однако обращение к истории литературного языка показывает, что перечисленные особенности изначально могли встречаться в кратких прилагательных (т.е. древних именных прилагательных), употребленных как в атрибутивной, так и в предикативной функции.

Особенно важен вопрос о роли, которую усеченные прилагательные играют в поэтическом тексте. На этот счет существуют две основные точки зрения. В соответствии с первой усечения рассматриваются исключительно как одна из поэтических вольностей, технический версификационный прием, “призванный облегчать труд стихотворца” [2. С. 246]. В рамках второй усечения определяются как стилистический прием, хотя многими исследователями стилистическая функция усечений отрицается [1; 2; 3]. Обзор большого массива текстов, содержащих усеченные прилагательные, показывает, что они употребляются и в той, и в другой функции в зависимости от эпохи, целеустановки и стилистических предпочтений автора. Наглядный пример этого – поэзия М. Кузмина [4].

Рассмотрение и сопоставление употребления усеченных прилагательных в поэзии различных авторов XVII–XX веков позволяют говорить об эволюции употребления усеченных прилагательных в языке русской поэзии.

Первоначально в поэтическом языке XVII–XVIII веков использовались древние именные прилагательные в своей изначальной функции, естественные для церковнославянского языка и не так давно и не до конца утраченные в русском языке (употреблявшиеся в книжном языке, в языке фольклора). Именно такие формы в грамматиках церковнославянского, а затем русского языка назывались “усеченными” в отличие от “целых прилагательных”, т.е. местоименных форм [5]. В языке силлабической поэзии XVII века можно отметить такие примеры: “юноши *светлы* предстоят”; “из *мутны* тины *чиста* вода не истекает”; “в *злохитру* и *лукаву* душу”; “несть бо *такова* *благочестива* царя-государя”.

В силлабо-тонической поэзии XVIII века, учитывавшей традиции силлабической поэзии, усеченные прилагательные стали использоваться не только как привычный элемент языка, но и как версификационный элемент, поскольку этого требовала более строгая ритмическая организация стиха. В связи с этим усеченные прилагательные несли стилистической нагрузки (например, могли употребляться в произведениях разных жанров), хотя их церковнославянское происхождение могло придавать им книжный характер, например:

Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззатной род препятством не был,
Чтоб внести в Италию стихи *эольски*
И первому звенеть Алцейской лирой.

(М.В. Ломоносов. "Я знак бессмертия себе воздвигнул...", 1747).

К концу XVIII века стало усиливаться внимание к жанрам среднего стиля, возник интерес к национальной культуре, стали появляться фольклорные стилизации (поэзия Львова, Нелединского-Мелецкого, Муравьева), стал меняться язык поэзии. Если Тредиаковский в своих филологических трудах говорил о невозможности употребления в языке серьезной поэзии народных выражений типа "бел шатер", то уже Ломоносов сближал усеченные прилагательные с фольклорными эпитетами (типа "калена стрела") [6; 7]. Интересно, что краткие формы очень быстро перестали различаться по источнику заимствования (ср. "красна девица", "люту горесть" и "красна Флора", "люты воспоминанья"). Например, в языке фольклорных стилизаций конца XVIII – начала XIX века употребляются как традиционные фольклорные эпитеты "тих светел месяц", "красно солнышко", "по синю морю", так и, несомненно, литературные усечения: "цветочки *ароматны*", "нежны птички".

Далее в своем развитии поэзия все более и более противопоставлялась прозе [8], что нашло отражение и в языке: так, к началу XIX века рассматриваемые прилагательные стали осознаваться как поэтизм, как отличительная черта языка поэзии. Эволюция использования усечений в поэзии первой половины XIX века очень четко прослеживается на примере творчества А.С. Пушкина: обилие поэтических штампов в ранней поэзии ("снежну грудь", "нежну руку", "томну главу", "небесны очи", "могильну сень"), использование усеченных прилагательных как средства пародирования поэзии классицизма. Например, в "Оде его сият. гр. Дм.Ив. Хвостову" (1825) употребляются такие формы: "древни клады", "предержко судно", "правдива лесть", "правдиву похвалу", "кораблю бегущу". Происходит практически полное исчезновение усеченных прилагательных из языка зрелой поэзии Пушкина, появление их в качестве фольклорного элемента ("Песни о Стеньке Разине",

“Песни западных славян”) и, наконец, использование в стихотворениях последних лет с яркой стилистической окраской возвышенного стиля (“Отцы пустынноики и жены *непорочны*”).

Поэзия второй половины XIX века характеризуется яркой тенденцией к демократизации языка – как элемент высокого стиля усеченные прилагательные мало востребованы (например, в поэзии Тютчева). Они используются либо с фольклорной стилистической нагрузкой (Некрасов, Кольцов), либо с пародийной (Минаев), как в стихотворении-посвящении В.С. Курочкина П.А. Ефремову:

*Изданну книжицу мной подношу вам, друже.
Аще и не нравен слог – мните, мог быть хуже.
Чтите убо без гневу, меня не кляните:
Невозможно на Руси Беранжерам быти.*

В поэзии Серебряного века усеченные прилагательные используются для стилизации не только фольклора, но и высокого стиля. В частности, в религиозной поэзии М. Кузмина встречаем такие примеры: “*архангельски гласы*”, “*встают праведны*”, “*злату трубушку*”, “*река огненна*” (“Стих о пустыне”, “Страшный Суд”, 1903); “гроб белеется *беломраморен*” (“Успение”, 1909); “*земнотряси* гробы зияют *зимны*”, “*златокованны цепочки*” (“Страстной пяток”, “София”, 1917).

Усеченные прилагательные употребляются в поэзии на протяжении всего XX века. Например, у Л. Мартынова в четырех поэмах находим около 90 усеченных форм прилагательных, причастий, местоимений: “И не *таку тяжелу* кладь перевозили на возу!”, “И *глупы* пьют, и *мудры* пьют!” (“Тобольский летописец”) [9].

Продолжают использоваться усеченные прилагательные и в современной поэзии, в большей степени – в творчестве поэтов, ориентирующихся на традицию. Например, в поэзии А. Башлачева: “*биты* кирпичи”, “*Снежна* Бабушка” (“Егоркина былина”); “Вы швыряли *медну* полушку Мимо нашей шапки терновой” (“Некому березу заломати”); “Как из *золотá* ведра каждый брал своим ковшом”; “Как из *золотá* зерна каждый брал на каравай” (“Все будет хорошо”); С. Калугина: “*Мраморна* дева в святом постоянстве Следит, как невидимый праздным глазам Белый кораблик из дальнего странствия К дому скользит по лазурным стезям” (“Неаполитано”); А. Непомнящего: “Звездочетов, как грязи – *сплошны* облака, И поэтому каждый знает точно, где рай” (“Вертолет”); “Ой, на сон грядущий эти сказочки *страшны* Для братцев-пискарей, жизнью умудренных Скучно тратить время, толковать им напрасно Про победу павших и радость обреченных” (“Апофатия”); М. Ляшко: “Под землей гробы, На земле сугробы, А на небе *ясны* солнышки. Им всё ясно. Они красны, Они зелены, Они голубы. *Ясны* солнышки Солоно хлебавшие, Знавшие всё, Но не упавшие,

Ни сном, ни духом Не упавшие на землю. *Ясны* солнышки, *Ясны* солнышки – *Красны*, *зёлены*, *голубы* – *Любы*” (“*Ясны солнышки*”).

Усеченные прилагательные в языке русской поэзии имеют богатую историю и как своеобразное явление грамматики заслуживают внимания и изучения.

Литература

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972. С. 216–217.
2. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М., 1991. С. 252–253.
3. Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.
4. Кулева А.С. Усеченные прилагательные в языке поэзии Михаила Кузмина // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты). М., 2006. С. 222–224.
5. Прозоровский А.А. Сильвестр Медведев. М., 1986. С. 84.
6. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 233–234.
7. Тредиаковский В.К. Избранные произведения. М.–Л., 1963. С. 379.
8. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984.
9. См. Кулева А.С. Усеченные прилагательные в поэзии Леонида Мартынова // Русская речь. 2007. № 2. С. 31–35.



РЕЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬ

© Н. И. ФОРМАНОВСКАЯ,

доктор филологических наук

Кто такие хвастун, враль, кляузник? А докладчик, рассказчик, заявитель? Все это люди, названные по характеру совершаемых ими речевых действий и неречевых поступков.

Речь в жизни людей играет огромную роль, речевые взаимодействия составляют специфику общения, язык формирует лексические и грамматические единицы и правила их объединения и употребления. Речевая деятельность, речевые действия отражены в языке многообразно. Большая группа слов со значением речи составляет особое функционально-семантическое поле. Глаголы и существительные с семантическими компонентами “речь + действие”, “деятель по признаку речи” составляют значительную часть национального словарного запаса и формируют социально-культурные картины мира.

В предлагаемой статье будет рассмотрено отношение “действие – деятель”, когда получение наименования деятеля является следствием действий: *советчик* – кто советует, *ябедник* – кто ябедничает, *склочник* – кто склочничает. Как видно из примеров, речевые действия, как правило, сплетены с неречевыми поступками и позитивного, и негативного характера.

Действия могут быть хорошими и плохими, длительными и короткими, многократными и однократными. В общении они могут затрагивать адресата или третье лицо и редко появляются в самохарактеристике, скорее в ситуации пояснения, разъяснения, а также разоблачения и самооправдания: – *Ишь ты, хвастун!* – *Я совсем не хвастун*; – *Да вовсе я не краснбай* и др. При этом, как правило, в языке появляется словообразовательная триада: действие – деятель – результат: *докладывать* – *докладчик* – *доклад*. Иные действия и результаты столь социально значимы, что могут караться законом: *клеветать* – *клевета* – *клеветник*; *доносить* – *ложный донос* – *доносчик* и др., а клеветник и доносчик наказываются и подвергаются общественному ostracismu.

Для начала напомним общеизвестные истины [1].

Речевое действие (или речевой акт) – основная минимальная единица речи и общения, высказывание-действие (его называют перформативным), воплощающее коммуникативное намерение (речевую интенцию) говорящего в ситуативных координатах непосредственного общения “я – ты – здесь – сейчас”: *Обещаю, Клянусь, Приветствую,*

Благодарю и мн. др. В примерах высказывание-действие сформировано глаголом-перформативом со значением речи в форме 1 лица, настоящего времени. Однако и многие другие формы, как известно, способны воплотить явление перформативности, т.е. способность выразить действие в высказывании: *Благодарю; Спасибо; Я вам (так) благодарен (признателен); Хочу (не могу не) поблагодарить вас; Примите мою благодарность; Приношу свою благодарность* – и мн. др. Как видим, каждое из высказываний есть действие благодарности, выраженное с помощью речи.

Теория речевых актов (ТРА), пусть и многократно критикуемая, дала мощный стимул развитию коммуникативной лингвистики, или лингвистики общения, поскольку лежащие в основе речевых актов речевые интенции говорящего выражают существенные потребности носителя языка – сообщить нечто другому, запросить информацию (спросить), побудить к чему-либо (например, попросить). Эти три прототипические глобальные интенции с развитием общения на языке разветвились, разрослись, и сегодня в словаре можно отметить более 1000 лексем со значением речевых интенций [2].

Заметим попутно, что речевые интенции как побуждающий фактор речевого акта дают в коммуникативном режиме бесчисленное множество прямых, косвенных и контекстуально-ситуативных (непрямых) речевых актов, позволяющих передавать адресату в непосредственном общении актуальные речевые значения и смыслы. Особенно обширны ряды функциональных эквивалентов в этикетном классе речевых актов: у нас множество способов извиниться и поблагодарить, обратиться и попросить и т.д. В “Словаре русского речевого этикета” А.Г. Балакая [3] одних выражений приветствия отмечено 383. Поэтому тысяча номинаций речевых интенций порождает десятки тысяч перформативных высказываний-действий.

В классификации речевых интенций отмечаются их разные стороны: а) они могут удовлетворять общающихся с помощью одного высказывания (*Благодарю!*, *Прошу прощения!*) или с помощью цепочки высказываний в дискурсе / тексте, при этом в диалоге – в действиях (спорить, принуждать) или в монологе (объяснять, оправдываться); б) интенции могут быть благоприятными для адресата и 3-го лица (хвалить, благодарить) или неблагоприятными (упрекать, доносить, угрожать); в) интенции связаны с практическими или ментальными речевыми действиями (приглашать или аргументировать). Ясно, что интенциональные значения и смыслы высказываний как коммуникативных единиц актуальны в разных сферах общения (деловой, научной, публицистической, религиозной, бытовой и т.д.) и средах (межличностные или публичные, официальные и неофициальные отношения, в малой или большой социальной группе и т.д.). Одно дело общение в узком кругу друзей, другое – на многолюдном собрании.

Словарные номинации речевых интенций – инфинитивы и отглагольные существительные (девербативы): *советовать / совет, информировать / информирование, обещать / обещание* и т.д. составляют большую и хорошо изученную лексико-семантическую группу (ЛСГ) глаголов и девербативов речи [4], [5].

Хорошо известно, что обширная группа слов со значением речи ограничивается с точки зрения производства речевых актов. Так, не образуют действий по названному наименования манеры речи, темпа, тембра, громкости и других просодических показателей: *шептать, орать, шепелявить, бормотать, вопить, трезвонить, шамкать, мямлить* и мн. др. В высказываниях они лишь характеризуют и поясняют речь, речевое действие: *Я шепчу, потому что тут посторонние* (объяснение); *Что ты орешь?* (упрек, запрет). Сами же по себе такие речевые акты в норме невозможны: **Я бормочу вам об этом; *Я ору тебе о моем намерении* и т.п.

В связи со сказанным важно заострить внимание на типах контекстов, речевых режимах, в которых “существуют” разнообразные высказывания с глаголами речи. На р р а т и в н ы й режим рассказа о событии, факте допускает всю гамму речевых глаголов: *Она шептала, мурлыкала ему в ухо ласковые слова; Ее манера мямлить раздражала многих* – в примерах – характеризаторы речи. *Он осуждал ее поступки и грозил разорвать отношения; Она просила его не спешить с выводами* – интенции сообщения о чьих-то речевых действиях (осуждения, угрозы, просьбы).

Собственно речеактивные глаголы “живут” подлинной жизнью лишь в коммуникативном режиме обмена смыслами в координатах “я – ты – здесь – сейчас”: *Прошу тебя не спешить с выводами; Я осуждаю твои поступки* и мн. др.

Уместно упомянуть и о таком типе контекста, как конструкции прямой речи, в которых совмещены оба речевых режима: речевой акт персонажа и нарративный комментарий автора-наблюдателя: *Не спеши с выводами, – просила она его униженно. Нередко в этих конструкциях в качестве авторского комментария выступают речевые характеризаторы: – Вот все работаю, работаю, а толку мало, – бормотала она; – Есть еще порох в пороховницах, – прошамкал старик; – Все сделаю, как велели, – отбарабанил парнишка*. Как видим, не образуют перформативных высказываний в коммуникативном режиме речевых актов глаголы-характеризаторы, хотя они широко употребляются в нарративном режиме речи и как комментарий автора в конструкциях с прямой речью, главным образом, в художественных текстах (хотя возможны и в обиходной речи).

Еще одно ограничение для производства речевых актов с помощью глаголов речи подметил З. Вендлер [6]. Это речевые глаголы с неблагоприятным для адресата интенциональным значением и иллокутивной

функцией: *лгать*, *порочить*, *доносить* и т.п. Произнося “я”-высказывание, говорящий в этом случае обнаруживает скрываемое (по Вендлеру – подрывной фактор) и совершает “иллокутивное самоубийство”. В самом деле, сказать: *Я вам лгу, Я вас обманываю, Я вам угрожаю, Я вам льщу* и т.д. – это “убить” само речевое действие, хотя, конечно, косвенных способов и лгать, и доносить, и льстить великое множество. З. Вендлер перечислил некоторые из таких глаголов: *инсинуировать*, *голословно заявлять*, *подбивать*, *подстрекать*, *подначивать*, *побуждать*, *угрожать*, *похваляться*, *хвастаться*, *намекать*, *лгать*, *ругать*, *поносить*, *пилить*, *придирааться*, *высмеивать*, *насмехаться*, *язвить*, *льстить*. Список можно расширить. Здесь окажутся и *принуждать*, *заставлять*, *клянчить*, *канючить*, *выпрашивать* и др. Ясно, что каждый из этих глаголов в норме не образует перформативного я-высказывания-действия: **Я насмехаюсь над вами; *Я поношу вас* и др.

В ходе работы над речевыми актами в коммуникативно-прагматическом и семантическом ключе автор этих строк обнаружил на базе кратко изложенных известных фактов еще одну закономерность в бытовании слов с неблагоприятным для адресата или третьего лица значением, скорее, словообразовательного характера, по связи “действие – деятель”. При этом именно действие дает имя деятелю: чтобы человека назвали хвастуном, он должен сначала похвастаться.

Но прежде следует, на наш взгляд, коснуться более широкого отношения: деятельность с помощью речи – деятель или, иначе говоря, деятельность в его речевой деятельности.

Люди в социальной, профессиональной, культурной и др. областях жизни часто получают наименование по виду действий. Можно рассмотреть несколько групп имен “речевого” деятеля. Как правило, в таких именах речь и конкретные поступки и действия взаимосвязаны.

1. Названия профессий, постоянных профессиональных и статусных задач: *советник* (*советовать*), *обвинитель* (*обвинять*), *защитник* (*защищать*), *судья* (*судить*) и даже *повелитель* (*повелевать*). Многие профессиональные и статусные наименования еще связаны с первоначальным значением глагола: *обвинитель* – *обвинять*; другие утрачивают такую связь: *советник* и *советовать*. Значимость профессий и тех действий, которые совершает обвинитель или защитник, дают веские обозначения результата – *обвинение*, *защита*. Эти наименования действительны и тогда, когда деятель обозначен интернациональным термином – *прокурор*, *адвокат*: *Прокурор вынес суровое обвинение; Адвокат удачно выстроил защиту*. Процессность, действенность этих результативных имен очевидна. Может быть и такое отношение, когда результат представляет собой одноразовое проявление: *повелитель* – *повелевать* – *повеление* (как, например, приказ). В иных случаях слово обрastaет новыми функциями, дополнительными оттенками и разной связью с речепроизводством. Так, *защитник в футболе* не актуализи-

рует речь (по действию *защищать*), *защитник* одноклассницы совмещает действия и речь, *защитник* в суде уже подготавливает целостный текст, произнесение которого и является его основным действием.

2. Группа названий деятеля по присущему постоянству речевой деятельности – чтения, письма, слушания: *читатель* (в библиотеке), *слушатель* (на курсах), *писатель* (как профессия). Отсутствует слово *говоритель* (в соответствии с деятельностью говорения), может быть, потому, что конкретных обозначений этого вида речевой деятельности в разных проявлениях множество: *докладчик*, *лектор*, *чтец-декламатор* и др. Здесь и номинации оценочных характеристик и процесса говорения: *балабол*, *болтун* и др., о чем далее.

3. Группа названий деятеля одномоментных или длительных ролевых действий. Некоторые номинации по роли связаны с юридическими терминами: *проситель* (устар.), *заявитель*, *ответчик*, *свидетель*. Другие сближаются с наименованиями постоянных поручений: *информатор*, *уведомитель*, *осведомитель*. Третьи означают действие “здесь и сейчас”: *докладчик*, *рассказчик*. Четвертые сближены с постоянством ролевых занятий: *комментатор*, *толкователь*, *истолкователь*. В этом случае можно отметить, что есть и пограничные явления, когда обозначение постоянства ролевых действий сплетается с обозначением профессии, например, *проповедник*, *сказитель*, *комментатор* и др.

4. Названия свойств человека, связанных с его речевой ролью: *утешитель*, *защитник*, *заступник*, *советчик*, *примиритель* и др. Как видим, здесь адресатно направленные позитивные действия, и результат, как правило, полезен адресату: *утешение*, *защита*, *заступничество*, *добрый совет*. *Примирение* как результат усилий примирителя связано, видимо, с полилоговыми взаимодействиями участников процесса.

5. Названия свойств человека, связанных с его речью, говорением. Эти свойства нередко имеют отрицательную оценку: *крикун*, *болтун*, *говорун*, *молчун*, *краснобай*, *словоблуд*, *брехун*, *пустобрех*, *пустомеля*, *трепач*. Здесь есть и некоторые образования от глаголов речи – характеризаторов (см. выше): *ворчун*, *шептун*, *мямля*, *нытик*, *бормотун*. В этой группе действия деятеля характеризуют его самого и, как правило, не касаются адресата или касаются в малой степени. Поэтому и результат такого действия обозначен редко (например, *болтовня*, *ворчание*, *нытье*).

6. Особо выделяется большая группа отрицательно оценочных названий деятеля по его неблагоприятному действию, которое осуществляется с помощью речи. Результат действия такого деятеля – общественно осуждаемое деяние. В одних случаях действие направлено на адресата, в других случаях касается третьего лица: *обманищик*, *лгун*, *лжец*, *врун*, *враль*. Обман и ложь могут быть адресатно направлены и в этом случае распознаются или не распознаются адресатом (см. далее), а могут касаться и третьего лица или события – ложное сообщение ад-

ресату о ком-то, чем-то. Речевое действие “говорить неправду”, как видно, имеет в литературном языке три глагола: *обмануть*, *врать*, *лгать*, пять названий деятеля, – настолько большое место оно занимает в жизни. *Обидчик*, *насмешник*, *зубоскал* задевают личность адресата. *Шантажист* заставляет выполнять денежные выплаты и другие поступки в его пользу. *Подстрекатель* толкает на неблагоприятное, а то и опасное действие. *Лстец* и *комплиментчик* своекорыстно преувеличивают похвалу. Слова *выдумщик* и *фантазер* нередко обозначают тех, кто по свойству характера склонен привирать. Часто это относится к детям и представляет собой норму в определенный период их развития.

Неодобряемое действие может быть как одноразовым, так и длительным, постоянным и свидетельствовать о свойстве, признаке (*говоруна*, *болтун*) человека, который уточняет это действие. Так, *хвастун* может совершать хвастовство здесь и сейчас, а может носить в себе это свойство всегда.

Речевое действие может быть направлено вышестоящей инстанцией, а неблагоприятные поступки деятеля задевают третье лицо. Так поступают *клеветник*, *доносчик*, *кляузник*, *ябедник*, *ябеда*, *наушник*, *жаблوبيк*.

Неприятные действия “речевого” деятеля могут вовлекать партнера по общению в диалог и полилог. Таковы поступки *спорищика* и *склочника*.

7. Особенно интересно проследить отношение речевое действие – деятель применительно к речевым актам между “я” и “ты”, “здесь” и “сейчас”. Деятель в стихии речевого акта, как правило, вовлечен в действие и подчинен глагольной перформативности, поэтому обозначается отглагольной единицей – причастием: *сообщать* – *сообщающий* (при отсутствии **сообщатель*), *спрашивать* – *спрашивающий* (не **спрашиватель*), *обещать* – *обещающий* (не **обещатель*), *просить* – *просящий* (см. выше *проситель*), *советовать* – *советующий* (см. выше *советник* и *советчик*), *требовать* – *требующий* (не **требователь*), *благодарить* – *благодарящий* (не **благодаритель*) и многие другие.

Однако причастие как имя деятеля свойственно в большинстве случаев оценочно нейтральным или положительным обозначениям. Когда речевой акт не г а т и в е н по отношению к адресату, причастие исчезает, и имя деятеля обозначается отрицательно оценочным существительным: ты мне грубишь – *грубиян*; ты меня обижаешь – *обидчик*; ты насмехаешься надо мной – *насмешник*; ты мне врешь – *врун*, *враль* и мн. др.

В диалоговых взаимодействиях партнеров при непринужденном “ты”-общении инициальная реплика строится по интенции упрек, порицание, укор, неодобрение “ты”-партнера, а реактивная реплика – как интенция отпора, самозащиты, а также разоблачение намерения гово-

рящего, если, конечно, его замысел раскрыт: – *Ты просто врун*; – *Ты зубоскал*; – *Я знаю, что ты доносчик*; – *Кляузник несчастный!*; – *Склочник ты, и больше никто!* – и мн. др. Нередко можно слышать призыв к прекращению неблагоприятного действия: – *Перестань врать!*; – *Хватит спорить, спорщик какой нашелся!*; – *Прекрати ябедничать, я тебя не слушаю!*; – *Противный подстрекатель!* – и мн. др. Ясно, что подобные речевые акты насыщены негативными эмоциями и повышенной экспрессией, поскольку здесь имена деятеля – это уже ярлыки с ярко отрицательным значением.

Надо думать, что в национальной и социально-культурной картинах мира номинации речевых действий и деятельности играют заметную роль. Особенно интересна, как видно, группа оценочно отрицательных названий, тогда как совсем немного слов, дающих положительные характеристики говорящего: *Он остро слов, остроумен*. В этом случае более всего описательных характеристик: – *У него хорошая речь*; *Он хорошо говорит*; – *За словом в карман не лезет*; – *Он дает меткие характеристики*; – *Умеет позабавить* и т.п. Таким образом, складывается следующая картина: если в своих речевых проявлениях человек поступает хорошо, то это норма, на которой не стоит заострять внимания. Но если он в своей речи проявил себя плохо, с позиций, не одобряемых нормативным общественным поведением, он получает “ярлык”, способный осудить его, заклеить, обозвать нередко обидным, а то и постыдным словом. И национальный словарь отмечает и хранит эти яркие номинации.

В статье описаны предварительные наблюдения. Дальнейшая задача состоит в том, чтобы обнаружить в толковых и других словарях полные списки номинаций деятеля в сфере речи – оценочно нейтральных, негативных и позитивных, связанных с речевыми актами, речевым поведением, коммуникативным взаимодействием людей.

Литература

1. *Формановская Н.И.* Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М., 2007.
2. *Савельева Е.П.* Номинации речевых интенций в русском языке и их семантико-прагматическое истолкование. Дисс. канд. филол. наук. М., 1991.
3. *Балакай А.Г.* Словарь русского речевого этикета. М., 2001.
4. *Кобозева И.М.* О границах внутренней стратификации семантического класса глаголов речи // Вопросы языкознания. 1985. № 6.
5. *Гловинская М.Я.* Русский язык в его функционировании. М., 1993. Гл. IV.
6. *Вендлер З.* Иллокутивное самоубийство. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.



Русский язык и развитие культур народов России

© З. К. ТАРЛАНОВ,

доктор филологических наук

Хорошо известно, что Российское государство – многонациональное исторически. Сколько всего народов в России, к сожалению, и по сей день не скажет никто. Даже результаты переписи населения не в состоянии ответить на этот вопрос без необходимых научных исследований. Но принято, однако, считать, что разных народов в России – более ста. У каждого из них – своя культура, свой веками складывавшийся уклад жизни. Свой обычаи, свой язык. Предлагаю читателям задать себе вопрос – сколько из более ста российских народов они могут перечислить. Думаю, что не очень много. А если спросить тех же читателей, что они могут сказать о культуре известных им народов? Едва ли последуют внятные ответы. Почему? Да потому, что существуют труднейшие языковые барьеры. Практически владеть более ста языками невозможно, а язык – это магистральный путь к культуре.

И в самом деле, что могут знать, например, образованные читатели из Кабардино-Балкарии, Осетии, Дагестана или Ростовской области о писателях, поэтах, традиционной культуре Карелии? Только то, что ими прочитано по-русски. Или что знают такие же читатели из Карелии о поэзии Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского, Батырая, Махмуда, Алима Кешокова или о нартском эпосе? Только то, что они читали по-русски. Однажды, давно, Расул Гамзатов, узнав, что еду в Петрозаводск, сказал мне: “Передайте привет моему другу Антти Тимонену”. Как могли общаться между собой аварец Расул Гамзатов и финн Антти Тимонен, творившие на своих языках? Опять-таки посредством русского языка.

Все это простейшие, но убедительнейшие иллюстрации к тому, насколько велика роль русского языка как универсального средства общения между народами Российской Федерации, включая, замечу, и народы бывших республик Союза.

Что же касается русского языка как важнейшего условия развития культур народов Российской Федерации, то остановлюсь лишь на следующих моментах.

Национальная интеллигенция всех народов Федерации практически создавалась впервые и на базе русского языка, русской школы и русской образовательной системы. Если у каких-то из народов и были какие-то формы письменной культуры на основе иной графики (например, арабской у многих народов Кавказа), то они оставались довольно случайными, далекими от того, что называется интеллигентским трудом. Некоторые склонны преувеличивать, идеализировать эти формы, но следует помнить что собственные учителя, врачи, агрономы, инженеры как представители массовых профессий, да и просто грамотные люди у народов России выросли лишь в результате образования, полученного на русском языке. Родные языки не могли и все еще не могут быть надежными опорами для получения полноценного не только высшего, но и среднего образования.

Чтобы язык стал языком образования, он должен быть ключом к разносторонней информации – научной, производственной, культурной, – которая и является содержанием обучения и образования. Он должен обладать значительной терминологической базой по всем отраслям знания и быть разработан настолько, чтобы быть в состоянии перевести и переварить опыт других народов. Все это требует времени, ресурсов, подвижничества гениев национальной культуры. Чтобы реально представить себе масштаб такой работы, достаточно напомнить, что тот литературный русский язык, которым мы пользуемся сегодня, создавался усилиями многих поколений гениев русской литературы, науки, культуры.

Русский язык был и остается родным языком образования для народов России.

Национальные школы у наших народов опять-таки создавались по образцу русской школы, с опорой на ее дидактические, методические принципы и терминологическую базу русского языка, которая попросту копировалась. Почти вся терминология школьного образования в национальных школах заимствовалась из русского языка либо прямо, либо в виде калек (копий). Хочу особо подчеркнуть: речь идет не об обычных межъязыковых связях и заимствованиях, свидетельствующих об исторических, культурных и прочих контактах между разными народами (это вполне рядовое явление в жизни языков во все времена). Речь идет о языке образования. В этом смысле народы России не исключение. Всем хорошо известна, например, роль латыни в системе образования многих народов средневековой Европы или арабского и персидского языков в странах Ближнего Востока до той поры, пока не сложились собственные национальные языки образования.

Опорные зональные языки образования, в свою очередь, благоприятствовали становлению соответствующих зональных типов культуры, поведенческих стандартов, в данном случае – средневропейского и ближневосточного. Принципиально аналогична роль русского языка в

жизни народов России, но только применительно к другому времени: начиная с последней четверти XIX века. Так складывалась судьба разных межэтнических, международных языков, я бы сказал, языков-трудящихся, роль которых в Российской империи выполнял русский язык. Эта роль за ним сохраняется и поныне. Отчуждение народов от русского языка значит не просто отбросить их на десятилетия назад, а лишить доступа к образованию вообще.

У истоков национальных наук, литератур народов России опять-таки стоял русский язык. По традициям российских гуманитарных наук были созданы исследовательские институты по изучению фольклора, языков, литератур, истории многочисленных наших народов, не говоря о том, что первыми исследователями, систематизаторами в этих областях знания научными руководителями национальных кадров были ученые России. Совершенно особой была его роль и в становлении национальных литератур. Известность, читательское признание национальных писателей напрямую зависели и зависят от количества и качества переводов на русский язык.

Наконец, русский язык, знакомство с русской литературой в значительной мере были фактором пробуждения и развития национального самосознания народов России.

Будем же беречь опорный язык культур наших народов!

Петрозаводск

Еще раз об аффиксоидах

© Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук

В ходе своего все усложняющегося развития русский язык в недалеком прошлом выработал повторяющиеся в употреблении структурные компоненты сложных слов, называемые по-разному, но преимущественно – префиксоидами и суффиксоидами, обобщенно – аффиксоидами, в чем-то уподобляющиеся префиксам и суффиксам, обобщенно – аффиксам. На эти структурные элементы (первоначально – на суффиксоиды) обратили внимание в середине XX века: “В некоторых типах сложных существительных вторая часть сложения подвергается словообразовательному обобщению и выступает в функции аффиксального элемента, своеобразной суффиксальной морфемы, например: “Носец (орденоносец, знаменосец), -вод (животновод, садовод), -вед (обществовед и т.д.)” [1].

Вскоре (ближе к 70-м годам) появился и нынешний термин – *аффиксоиды*. Поскольку определения этого словообразовательного явления у разных авторов схожи, обратимся к формулировке, данной в энциклопедии “Русский язык”: “Аффиксоид (от *аффикс* и греч. *éidos* – *вид*) – компонент сложного и сложносокращенного слова, повторяющийся с одним и тем же значением в составе ряда слов и приближающийся по своей словообразовательной функции (способность образовывать новые слова с тем же компонентом) к аффиксу-суффиксу (для последних компонентов сложений) или префиксу (для первых компонентов); соответственно А. подразделяются на суффиксоиды и префиксоиды. Примеры суффиксоидов: – вод (животновод, лесовод), – воз (лесовоз, рудовоз), – провод (газопровод, нефтепровод), – видный (яйцевидный, стекловидный), – хоз (совхоз, лесхоз). Примеры префиксоидов: само- (самообладание, самодисциплина), полу- (полукруг, полупроводник), лже- (лженаука, лжеученый), авиа- (авиалиния, авиастроитель), теле- (телепередача, телеэкран), видео- (видеофильм, видеопленка), орг- (оргработа, оргмеры, орготдел)” [2].

Из этого определения аффиксоидов вытекает, что и цельные слова (их основы), являющиеся повторяющимися компонентами сложных слов (лесоповал, тонкостенный; трехкилометровый, машиностроение) [3], некоторые из которых содержат в себе аффиксы, также должны считаться аффиксоидами.

Не будет ли разумнее считать: аффиксоиды, будучи повторяющимися ингредиентами сложных слов, являются морфемами [4] и потому не могут быть более сложной структурой – ни их совокупностью, ни цельными словами (их основами). Следовательно, не могут признаваться аффиксоидами такие компоненты сложных слов, как, например, *автомобиле...*, *долго...*, *кино...*, *...часовой* и др., как широчайше представленные в сложениях цельные слова с первой частью *бизнес-*, *интернет-*, *секс-* и под.

Особенностью аффиксоидов является то, что, уподобляясь аффиксам по своему положению в слове, в содержательном плане они, будучи “обломками” породивших их слов, наследуют их значение, то есть несут самостоятельную корневую нагрузку. Они, в отличие от аффиксов, имеют значение материально-предметное и конкретное (ср., например, префиксы и суффиксы *в*, *на-*, *под-*, *около-*, *-ск* и др. и префиксоиды и суффиксоиды *авто...*, *онко...*, *...руб.*, *...фил* и др.).

Таким образом, не каждый повторяющийся в сложных словах дополнительный структурный ингредиент с корневым значением является аффиксоидом, но каждый аффиксоид – структурирующий компонент сложного слова. “Суффиксоиды и префиксоиды близки к компонентам сложного слова” [4], но – не более того.

Уподобляясь по воспроизводимости и по месту в слове аффиксам, аффиксоиды могут занимать в сложных словах не только начальное или конечное, но и срединное положение (*автомотоспорт*, *агрозовет-лаборатория*, *госэлиднадзор*, *культбытхозтовары*, *леспромхоз*); не будучи аффиксами, могут присоединять к себе асемантическую соединительную гласную: (*дезо...*, *фито...*); играют словообразовательную (не словоизменительную) роль; в отличие от префиксов и суффиксов, всегда разделенных корнем, префиксоиды и суффиксоиды, будучи корневыми по смыслу, в сложносокращенных словах могут сочетаться друг с другом напрямую (*колхоз*, *санбат*, *собкор*, *юрфак* и под.).

Не могут признаваться аффиксоидами ингредиенты, если они в словах появляются единократно (*гумпомощь*, *дисбат*, *заксобрание*, *зарплата*, *генпрок*, *пубдом*, *рабсила*, *рензал*, *стабфонд*, *сухпак* и мн. др.). Они бытуют в языке как образец для воспроизводства.

Вскоре после “открытия” аффиксоидов как структурно- и смыслообразующих компонентов сложных слов Н.М. Шанский писал: “Аффиксоиды в русском языке почти не изучались, поэтому ни в одной работе научно-справочного характера мы не найдем пока даже их более или менее полного индекса” [5].

В русской лексикографии существуют словари универсальные, отдельно – словари устойчивых словосочетаний (выход за пределы слова), словари структурных “кирпичиков” слов-аффиксов (вхождение внутрь слова). Наши большие толковые словари описывают только самые наглядные аффиксоиды (“первая часть сложных слов”, “вторая

часть сложных слов”), причем аффиксоиды, мотивированные русскими словами, обычно подаются предельно обобщенно (см. *кол...*, *сан...*, *электро...* и др.), хотя не все значения порождающих аффиксоиды слов автоматически наследуются в соответствующих аффиксоидах.

В Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) создан отдельный словарь русских аффиксоидов – не только в порядке их наибольшего перечисления, но и при их углубленной семантической разработке. Авторы словаря исходили из надежды, что предъявление наиболее полного корпуса повторяющихся компонентов сложных слов – аффиксоидов – поможет глубже вникнуть в механизм современного словообразования. Они полагают, что словарь может явиться теоретическим и практическим пособием по исследованию русских аффиксоидов. В словаре около 700 префиксоидов и 180 суффиксоидов (для справки: в “Грамматике русского языка”, т. 1, 1980 отмечены 87 префиксов и 528 суффиксов). Такой словарь – первый в русской лексикографии и потому носит опытный характер.

Литература и примечания

1. Современный русский язык. Морфология. Изд. МГУ. 1952. С. 127.
2. Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 26–27.
3. Так, в словаре Б.З. Букчиной и Л.П. Калакуцкой “Слитно или раздельно? Орфографический словарь” (М., 1998) сложных слов с первой частью *лесо...* 226; в издании “Обратный словарь русского языка” (М., 1974) слов со второй частью... *строение* – 38 (сейчас, спустя тридцать с лишним лет, их, надо полагать, еще больше).
4. См.: “К суффиксоидам относятся корневые морфемы, употребляющиеся в функции суффиксов и занимающие в слове их позиции”; “К префиксоидам относятся корневые морфемы, употребляющиеся в функции префиксов и занимающие в слове их позицию”. *Тихонов А.Н.* Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1. М., 1988. С. 24–25.
5. Сб. Исследования по современному русскому языку. М., 1970. С. 261.

Плясать до упаду, а работать без устали

О разграничении наречия и существительного с предлогом

© О. Е. ИВАНОВА,
кандидат филологических наук

Правила орфографии, регулирующие слитные или раздельные написания наречий и сочетаний “предлог + существительное” с наречным значением, базируются на морфологическом основании и требуют учитывать принадлежность к определенной части речи: наречие следует писать слитно, существительное с предлогом – раздельно. Однако в реальности разграничение наречий и существительных с предлогом оказывается нелегким, поскольку не всегда ясно, с какой из этих сущностей пишущий имеет дело. Применить данный морфологический подход затруднительно, например, в таких часто встречающихся контекстах, как (1) *лег на бок/набок*, (2) *завалился на бок/набок*, (3) *склонил голову на бок/набок*. Какие же критерии “включаются” здесь при выборе способа написания? В примере (1) критерий “задать вопрос: *на что?* или *как?*” (т.е. сформулировать вопрос к дополнению или обстоятельству) не работает, поскольку оба вопроса допустимы, глагол *лечь* никак не обнаруживает своих предпочтений – и свобода выбора написания остается за автором текста. Поэтому приходится прибегать к другому смысловому критерию: “в какой сопоставительный ряд я хочу поместить данную единицу, чтобы выразить необходимое мне значение: *на спину*, *на грудь* или *навзничь*, *ничком*?”. И снова равно допустимы обе возможности. Пример (2) также не является однозначным: интуитивно ощущается предпочтительность сочетания глагола *завалиться* с наречием *набок*, но ведь можно написать и *завалиться на бок*, если при этом подразумевать – “не на спину, не на плечо”. Таким образом, решение о написании в (1) и (2) принимается исключительно по выбору пишущего на основании его понимания высказывания. Как он напишет – так и следует понимать текст. И тут не идет речь о вариантах написания, так как это не одно и то же слово, записанное орфографически по-разному, а разные языковые явления, каждое из которых выражает собственную семантику, свое значение. Наконец, в примере (3) описывается ситуация, для кото-

рой предпочтительным является выбор наречия *набок*, потому что здесь имеется в виду не “бок” – “боковая часть туловища”, а направление, конкретнее, положение головы, наклонное в сторону плеча. Наречие *набок* попадает здесь в один ряд с локальными характеристиками *вперед*, *назад*, которые, в отличие от *набок*, употребляющегося при глаголах *наклонить* и *склонить*, сочетаются только с глаголом *наклонить*. В рассмотренных примерах коллизия “наречие или существительное с предлогом” существует не в языке, который определенным образом, тонко, но все-таки разграничивает предложно-падежную конструкцию и наречие, а в способности пишущего проявить свое языковое чутье, как говорят, “языковую компетенцию”.

Но есть явления другого рода, когда написание известно, а частеречный статус не является бесспорно определенным, ясным, в том числе и для специалистов. Обратимся, например, к сочетанию *до упаду*, которое считается наречием в академических грамматиках с 1952 г., а в “Русской грамматике” 1980 г. оно даже пишется слитно (Т. I. С. 407, 703). При этом правила правописания трактуют его однозначно как существительное с предлогом, а орфографические словари допускают только раздельное написание. *До упаду* постоянно фигурирует в списках тех единиц, для которых рекомендация слитного написания представляется очень желательной, почти бесспорной. Считается, что *до упаду* является целостной по значению единицей, неразделимой на самостоятельные смысловые части, поскольку компонент *упад* не “дотягивает” до статуса самостоятельного слова: в словарях он обычно оформляется не как полноценное существительное, а только в качестве составляющей цельного сочетания (*упад*: *до упаду* – до полного изнеможения). Но слабая выделяемость частей из целого, идиоматичность значения сочетания *до упаду* не является решающей для определения его категориального статуса как наречия. Имеются другие, существенные в данном случае признаки, позволяющие увидеть в этом раздельно пишущемся сочетании не просто “ошибку” кодификаторов, медлящих с установлением слитного написания, а реальное предложно-падежное сочетание, где и приставка, и корень имеют отдельные значения и с ними входят в специфическую лексическую парадигму – ряд слов, реализующих типовую семантику.

Наречия, образованные приставочным способом “до...+ корень”, формируют две основные разновидности: слова типа *добела*, *догола*, *домертва*, *дотемна*, *дотеперь*, *досюда* восходят к несубстантивным корням, слова *доверху*, *донизу* – к субстантивным корням, имеющим абстрактное пространственное значение. Наречия этих двух разновидностей пишутся слитно. В остальных случаях образования с компонентом *до* имеют по действующим нормам раздельное написание (за исключением старинного *дотла*). Большинство таких наречных выражений реализует семантику обозначения предела действия (основное значение

предлога *до* – указание на предел чего-н. и на степень, которой достигает действие, состояние, качество). В реализации этого значения участвуют как существительные с признаковым значением основы (*зарез, износ, крайность, одурь, отказ, ужас*), так и предметные (*гроб, зубы, лампочка, ручка, фонарь*): *до боли, до времени, до гроба, до дна, до зарезу, до зубов, до износа, до капли, до конца, до костей, до крайности, до крови, до лампочки, до невероятности, до невозможности, до неузнаваемости, до одури, до отвала, до отказа, до полусмерти, до поры, до предела, до ручки, до смерти, до ужаса, до упаду, до фени, до фи́га, до фонаря, до чёрта, до чёртиков*. К рассматриваемому лексическому ряду относятся также идиомы типа *до корней волос* (покраснеть), *до зеленого змия* (напиться), *до гробовой доски* (любить), *до положения риз*. Единица *до упаду* вписана, таким образом, в немалый и достаточно живой, пополняемый ряд сочетаний различной степени идиоматичности, а внутри него – в ряд отглагольных единиц типа *до зарезу, до износа, до отвала, до отказа, до упаду*.

Сошлемся на мнение Е.С. Скобликовой, справедливое в том, что именно “отчетливость значений предлогов *до* и *без* при понятности “квазисуществительных” *зарез, упад* объективно способствует сохранению тенденции к раздельному написанию” этих единиц. Заметим, однако: слово *зарез* традиционно включается в словари русского языка в предметном (часть говяжьей туши) и глагольном (например, “Без этих денег мне *зарез*”) значениях. В этой связи его вряд ли можно считать “квазисуществительным”. Полагаем, что ассоциативные связи с целым рядом структурно и семантически однотипных единиц, к тому же активных в современном употреблении, поддерживают субстантивное осмысление рассматриваемой конструкции и, как следствие, раздельное написание с компонентом *до*.

Признаки, значимые для языкового статуса данной единицы, определяющие в конечном счете и ее орфографическую запись, обнаруживаются не только в приведенном парадигматическом ряду, но и в синтагматическом – в контекстных отношениях слов. Известным школьным приемом решения орфографической задачи – различения графически совпадающих наречий и ненаречий – является использование дифференцирующего контекста. Обнаружение в контексте связей и зависимостей, характерных для имени существительного, означает, что докорневая часть является предлогом, который пишется отдельно. Для *до упаду* типична сочетаемость с глаголами *танцевать/плясать, смеяться/хохотать, работать* и производных от них имен (например, *пляски, танцы, работа до упаду*), что само по себе не выявляет свойств наречия или имени. Но существуют тексты, в которых конструкции одной структуры занимают одинаковую синтаксическую позицию, что задает их общую морфологическую интерпретацию. Посмотрим, например, на две группы примеров: (1) на предложения с общим для одно-

родных членов глаголом: “[Дьякон] смеялся от каждого пустяка до колотья в бок, до упада” (А.П. Чехов); “Вот и воевали до упаду, до полного изнеможения” (В. Астафьев); “Она смеялась до упаду и до истерики” (Н.С. Лесков); “Иногда хохотал над моими глупостями до упаду, до слез” (Н. Шмелькова); также (2) на предложения с разными глаголами: “На масленицу надо *есть до икоты, пить до перхоты, петь до надсады, плясать до упаду*” (Отеч. записки. 2003); “...заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства” (Д.В. Григорович); “Мы умели и трудиться до самозабвения, вне регламента, по ночам, и веселиться до упаду” (М. Козаков) (некоторые примеры взяты из Национального корпуса русского языка).

Такие параллельные контексты, имеющие сопоставительную силу, не столь уж редки, в них попадают и другие единицы с наречным значением, характеризующиеся остаточной выделяемостью корня. В следующих предложениях это сочетания *на ощупь* и *без умолку*: “Понимаю я слово правильно, можно сказать, *на ощупь, на вкус*, все его качества знаю, а распоряжаться им не умею” (К. Паустовский); “Ей шел уже восьмой год, и множество вещей она знала *на вид, на запах и на ощупь*” (Л. Улицкая); “... то верещал, то трепался о выборах, о политике, *без остановки, без умолку*”. Таким образом, контекстные условия, вследствие которых происходит включение данных единиц в ряд других субстантивных, занимающих одну синтаксическую позицию, в целом способствуют удержанию их раздельного написания. Даже если видеть в употреблении типа “...упиваются медом, вином и водкою *до упаду и бесчувственности*” феномен обратного словообразования (так считал М.В. Панов), в результате которого приставка как бы отсекается от корня и пишется отдельно, то надо признать, что сама возможность переосмысления слова как предложно-падежного сочетания и соответствующей орфографической записи свидетельствует о наличии в нем не окончательно утраченных субстантивных потенций, а отсеченный компонент остается в тексте, “превратившись в предлог или частицу” (И.С. Улуханов).

Предложный характер компонента *до* актуализирован и в позиции сильноуправляемого родительного падежа, когда управляющий глагол содержит приставку, соотносимую с предлогом, например: *довести хозяйство до развала / до краха / до упада*; также с определением: *довести до полного развала/краха/упада*. Здесь корректна, по-видимому, лишь форма на *-а* – как у синонимичных выражений. Словосочетание *довести до упада* отмечено в “Большом толковом словаре русского языка” (СПб., 2000). Закономерным использованием семантического потенциала данного сочетания представляется следующая, более “продвинутая” попытка осмыслить именную часть *упад* как отглагольное существительное в прямом значении: “Зато Незнайка и Пестренский смеялись до упаду, то есть под конец представления упали со стульев, а

Пестренский даже ударился головой о ножку стула и набил на макушке шишку” (Н. Носов).

В настоящее время в качестве полноценного имени существительного *упад* активно функционирует на периферии русского языка: это слово характерно для молодежного сленга и выражает значение “что-л. смешное, необычное; высшая степень какого-л. впечатления” (*я в упаде*), а также употребляется в значении междометия (*ну, полный упад! просто упад!*) (по данным “Словаря московского арго” В.С. Елистратова). Для обоих значений основной является сема предельности состояния, качества, свойственная также семантике наречного сочетания *до упаду*. Отмечаются, наконец, контексты, в которых *упад*, видимо, занимает место существительного *упадок*, такие, как *упад рыночного хозяйства, упад экономики Украины* (из публикаций Интернета).

Таким образом, уникальное слово *упад*, будучи тесно связанным в синтагматической цепочке с предлогом-приставкой *до*, вполне способно проявлять свой потенциал как субстантив, как существительное в рамках устойчивого сочетания *до упаду*. Предложение слитного или – как компромисс – вариантного способа написания *до упаду/доупаду* представляется спорным, упрощающим дело, если учесть все значимые языковые отношения. Оно влечет за собой лишь появление нового словарно фиксируемого орфографического исключения (так называемого словарного слова) из внушительного ряда однотипных единиц.

Сочетание *до упаду* продолжает, таким образом, свою жизнь в языке, балансируя на границе двух частей речи. Так же “живет” и, например, сочетание *без устали*, которое традиционно приводят в качестве пишущегося раздельно лишь по традиции. Эта традиция обязывает писать раздельно с предлогом *без* все сочетания, в которых именная часть напоминает по форме имя существительное независимо от выражаемого значения (*без напряжения, без остановки, без продыху, без умолку, без устали* и др.). В текстах *без устали* реализует два основных значения: 1) одно, более частотное, без сомнения наречное: “беспрерывно, не переставая”, встречающееся, в контекстах, где субъект действия – не человек: “Между тем сайты сепаратистов *без устали* распространяют сведения об огромных потерях федеральных войск”; “*Метро без устали* гремит над головой”; “*Без устали* трещат телефоны”, то же с субъектом – человеком: “Японцы верны себе и *без устали* изобретают всевозможные полезные диковинки”; “*Центристы без устали* критикуют правительство”, и 2) субстантивное “без усталости, не испытывая усталости” с субъектом действия – человеком: “Целятся *служащие*, которые ходят на работу пешком, способны и к вечеру сохранять “утренние мозги”, то есть работать *без устали* и перерывов”; “Ребенок *без устали* бегаёт весь день”, ср. *он (никакой) устали не знает* (РОС: *не зная устали*). Слитное написание – это та орфографическая форма, в которую с уверенностью можно было бы облечь сочетание только в

первом из этих значений. Но возможны также сложные по семантике случаи, совмещающие оба значения, например: “У настоящего *физкультурника*, вообще, кажется, только два пути: либо *без устали* тренироваться, либо заняться чем-то другим”; “*Незнакомец* продолжал *без устали* колотить в дверь”.

Вполне возможно, что для *до упаду*, *без устали* и им подобных сочетаний двойственный частеречный статус является способом их существования в языке: известно, что переход в наречие (адвербиализация) для очень многих предложно-падежных конструкций не является обязательным, а может быть, и вообще недостижимым; что в зависимости от целого ряда факторов, известных в науке, каждое из предложно-падежных сочетаний имеет свои границы развития признаковой или предметной семантики. Степень приближения к наречию у каждого слова, вступившего на путь адвербиализации, “своя, индивидуальная”, писал, размышляя о нюансах адвербиализации, А.М. Пешковский.

В то же время многие из существующих ныне единиц имеют длительную историю раздельного написания, сохраняя неизменным и значение. Так, сочетания *на дом*, *на время* известны, например, с XI века, *на оцупь*, *в шутку*, *в тупике*, *на совесть* – с XVIII века (сведения о времени фиксации заимствованы, в частности, из трудов Н.В. Чурмаевой). Раздельный способ написания в этом случае представляется меньшим насилием над сущностями языка, оставляя возможность отразить употребление данных единиц и как наречий, и как существительных с предлогом.

Большинство делегатов *прибыли* или *прибыло*?

© Т. Ю. ЛАБУНСКАЯ

Об актуальности проблемы координации сказуемого с количественно-именным подлежащим свидетельствует множество вопросов, которые регулярно поступают в справочную службу Института русского языка РАН: “Как правильно: *Большинство людей поймут* или *Большинство людей поймет*; *Большинство людей выбирает* или *Большинство людей выбирают*”? Несмотря на то, что в нашем распоряжении имеются грамматики, справочники, словари, в том числе и ортологические, найти четкий ответ или рекомендацию, объяснить выбор числа глагола в большинстве случаев затруднительно. Это происходит из-за неполноты рекомендаций, противоречий внутри самих рекомендаций одного справочника и несоответствия рекомендаций разных справочников и словарей.

В статье речь, главным образом, пойдет о том, почему в русском языке возникли такие “варианты” согласования подлежащего и сказуемого, какие нормативные рекомендации существуют на данный момент, на чем они основаны и соответствуют ли они речевой практике.

Синтаксическая связь “согласование”, в том числе и согласование главных членов предложения – координация, детально изучена и широко описана в грамматиках. Но до сих пор существуют не решенные до конца вопросы о координации сказуемого с количественно-именным подлежащим, даже несмотря на то, что в каждой крупной работе, посвященной синтаксису, этот вопрос так или иначе освещался. Это труды синтаксистов XIX – начала XX века – Ф.И. Буслаева, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова, грамматики XX века – Русская грамматика (1980 г.), Краткая русская грамматика и другие.

Выбор и организация языковых средств связаны с понятием культуры речи и языковой нормы. А норма, по замечанию М.В. Панова, уже в конце XX века “становится не столько системой запретов, сколько выбором языкового средства” [1]. Нормам единиц разных уровней языковой системы всегда уделялось большое внимание. Коммуникативные же нормы, то есть правила эффективного речевого общения, только в последнее время стали предметом активного обсуждения и исследования.

Мысленное предвосхищение говорящим желательного для него результата общения, направленность сознания на этот результат – это первый этап порождения высказывания, который определяет выбор языковых средств. Носители языка делают этот выбор подсознательно, исходя из норм владения языком, знания определенных функций, закрепившихся за определенными формами и значениями в языке, в соответствии со стереотипами выражения смысла. Например, говорящие интуитивно выбирают форму единственного числа сказуемого в следующих конструкциях: “На выборы-2007, согласно перечню Росрегистрации, *допущено 15 партий* – втрое меньше, чем на выборы-2003” (Ведомости. 2007. 6 сент.); “Из 23 уголовных дел по фактам неисполнения приговоров, растраты или сокрытия арестованного имущества, возбужденных дознавателями Минюста в минувшем году, *большинство прекращено*, в суд *направлено* лишь 11” (Деловой квартал, 2003), которая включает компонент значения безличности.

А “когда успешное сообщение адекватно воспринимается, понимается, усваивается и оценивается адресатом”, это и есть достижение успеха, реализация цели говорящего [2]. Таким образом, организация речи пишущего и говорящего должна быть нацелена на правильное ее восприятие.

Изучение проблемы согласования сказуемого с количественно-именным подлежащим имеет свою историю. Синтаксисты XIX – начала XX века – Ф.И. Буслаев, А.М. Пешковский, А.А. Шахматов в своих работах, посвященных синтаксису, обращали внимание на эту особенность согласования и делали попытки объяснить различия, связанные с выбором числа глагола. Ф.И. Буслаев считал, что “из этих двух способов согласования, первый, т.е. со множественным числом, нагляднее, потому что указывает на предметы, о которых говорится; второй же, с единственным числом среднего рода, отвлеченнее, потому что относится к отвлеченному понятию о числе. Объясняет же эти “затруднения” в выборе нужной формы глагола Ф.И. Буслаев тем, что “мы постоянно смешиваем два начала: этимологическое и логическое. Также он фиксирует, что “в современном языке все количественные имена, не исключая *двух, трех, четырех*, и собирательные *четверо, пятеро, шестеро* и т.д. согласуются двояко, или 1) с формами множественного числа, полагаемыми в том роде, в каком стоит исчисляемое существительное; или 2) с формами среднего рода единственного числа” [3].

А.М. Пешковский и А.А. Шахматов также не оставляют данный вопрос без внимания. Объясняют же они его по-разному. А.М. Пешковский считает несогласование глагола в числе с подлежащим признаком самостоятельности формы числа в глаголе [4], а А.А. Шахматов разрабатывает свою оригинальную синтаксическую теорию согласованных и несогласованных предложений и выделяет особый вид – количественно-именные предложения, которые могут быть как двусоставны-

ми согласованными, так и несогласованными: *Вышло три ухореза, Пропало 100 рублей* – несогласованные предложения; *Вышли три ухореза, Мои 100 рублей пропали* – согласованные предложения [5].

Вопрос о происхождении предложений с глаголом-сказуемым в форме единственного числа решается исследователями по-разному. А.М. Пешковский относит их к “нечто среднему между личными и безличными предложениями” и считает наиболее вероятным простое смешение “личного и безличного оборотов в такую эпоху языка, когда оба типа предложений были уже развиты” [С. 369]. А.А. Шахматов данные предложения относит к несогласованным и, в отличие от А.М. Пешковского, утверждает, что они “происхождения нового, причем часть из них развилась из двусоставных согласованных предложений” [С. 132].

В связи с активным развитием дисциплины “культура речи” и составлением грамматик и ортологических словарей и справочников во второй половине XX века исследователи обратили особое внимание на вопрос о том, почему в конструкциях с количественно-именным подлежащим сказуемое употребляется то в форме единственного, то в форме множественного числа. По справедливому замечанию Ф.В. Авджан [6], “формулируя условия, влияющие на выбор формы числа сказуемого, многие авторы сосредоточивают внимание на чисто внешних элементах соответствующих синтаксических конструкций”, что приводит к большой разветвленности и внутренним противоречиям внутри самих рекомендаций.

К условиям, определяющим число сказуемого, относят:

1. препозиция или постпозиция сказуемого;
2. распространенность / нераспространенность предложения;
3. состав именной группы (наличие числительных *два, три, четыре*);
4. значение подлежащего – приблизительное количество, конкретное-предметное значение и т.п.;
5. совместное / раздельное совершение действия;
6. наличие при количественно-именном подлежащем ограничительных слов *всего, лишь, только*;
7. удаленность сказуемого от подлежащего.

Почти все рекомендации повторяются из работы в работу начиная с 60-х годов прошлого века, в том числе и в “Русской грамматике” [7], и в “Краткой русской грамматике” [8]. Они переходят с постоянными дроблениями и уточнениями из одних изданий, рассчитанных на массового читателя, в другие [9], [10].

Очевидна неактуальность использования устаревшего иллюстративного материала – некоторые цитаты из произведений классической литературы не соответствуют современной речевой практике (соединение в одном предложении двух сказуемых в разных формах): “*Человек полтораста высыпало из лесу и устремились на вал*” (Пушкин),

“За дверью находилось несколько человек и как будто кого-то *отталкивали*” (Достоевский).

В Справочнике Д.Э. Розенталя, Е.В. Джанджаковой и Н.П. Кабановой (издания 1994–2006 гг.) [11], [12] имеются расхождения между рекомендациями и трактовкой примеров, полное отсутствие рекомендаций и демонстрация разных цитат, констатация вариативности форм сказуемого без анализа значения предложения в целом. Например, рекомендация использования формы единственного числа для подчеркивания совместности действия [С. 258], а на следующей странице пример – “*Тридцать два человека дышали одним духом*”. Казалось бы, совместность действия налицо, но здесь употреблена форма множественного числа потому, что использовано числительное *два*. Таким образом, внутренние противоречия рекомендаций, часть из которых претендует на анализ семантики предложения, а часть остается лишь констатацией факта употребления без объяснения причин, усложняют выбор говорящим той или иной формы.

Современная разговорная речь, публицистика и художественная литература предоставляют разнообразный, яркий материал для новых исследований.

Продемонстрируем несостоятельность некоторых рекомендаций на современных примерах. Особенно расплывчатыми являются рекомендации относительно выбора формы числа сказуемого при подлежащем, обозначающем приблизительное количество. Большинство исследователей считают, что в данных конструкциях сказуемое следует употреблять, как правило, в единственном числе: “Только форма ед. ч. сказуемого правильна тогда, когда сказуемое предшествует подлежащему, а также в случае нераспространенности предложения” [8]. Некоторые авторы формулируют множество частных условий, которые определяют возможность множественного числа. Но обе формы числа обнаруживают почти равную употребительность. Вот примеры со словом *большинство*: “*Большинство трагедий произошло* в выходные с 19 по 20 мая” (Десница. 2007. 25 мая), “*Большинство спасенных оказались туристами* из Америки, Испании и Германии” (Десница. 2007. 15 июня), “*Большинство из тех, кто “наутро проснулся несметно богатым”, ничего не производили и не изобретали*” (АиФ. 2007. 12 дек.); “Мне сейчас почти 75 лет, но я хорошо помню те переживания, которые испытывали *большинство из нас*, когда готовились стать пионерами” (Весть (Калуга). 2002. 18 апр., НКРЯ); “К такому выводу *пришли большинство участников* состоявшегося вчера круглого стола по вопросам стратегии развития бизнеса в России” (Независимая газета. 2003. 27 мая, НКРЯ); “*“За” проголосовало большинство членов палаты представителей, а затем и сената США*» (Известия. 2002. 2 июня, НКРЯ).

А.А. Шахматов, например, на каждый случай двоякого употребления формы сказуемого приводит примеры предложений с разным по-

рядком слов, таким образом он демонстрирует независимость выбора формы от позиции членов предложения.

Требуется уточнение и изменение существующих на данный момент рекомендаций. Учет только внешних элементов структуры предложения не приводит к ответу на вопросы, по какой причине выбирается именно форма единственного или множественного числа, какой вариант будет соответствовать задачам высказывания и коммуникативной норме. Предстоящие решения требуют иного подхода к данной проблеме, которая, безусловно, нуждается в теоретической разработке.

Точно определить, какая форма глагола-сказуемого предпочтительна в отдельно взятом предложении затруднительно, ведь коммуникативный замысел говорящего порождает прежде всего текст, а текст “управляет предложением” [13]. В соответствии с коммуникативно-смысловым типом речи и функциональным стилем говорящий автоматически выбирает определенную форму глагола. В повествовательных публицистических текстах, например, в соответствии с замыслом говорящего при особом подчеркивании роли субъекта, независимо от порядка слов и состава именной группы, следует употреблять форму множественного числа: “Но *большинство уверены* – режиссер поступил бестактно, обнародовав причину штрафа” (Известия. 2002. 30 янв.); “В США *большинство подростков* почти ничего не знают о конституции страны” (Русская служба новостей. 2007. Сентябрь). В конструкциях со значением результата выбирается форма единственного числа: “Эту поправку *большинство отклонило*” (Газета. ру. 2003. Сентябрь, НКРЯ); “На вчерашнем заседании *большинство проголосовало* за окончательный вариант...” (Политком. ру. 2003. Сентябрь, НКРЯ).

Таким образом, выбор формы числа глагола-сказуемого при согласовании с количественно-именным подлежащим не зависит от внешних элементов, таких, например, как порядок слов или состав именной группы, а основывается прежде всего на смысловой структуре текста, который в свою очередь определяет семантическую организацию предложения.

Литература

1. Панов М.В. Из наблюдений над стилем современной периодики // Язык современной публицистики. М., 1988.
2. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003.
3. Буслаев Ф.И. Грамматика русского языка. М., 1881.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

5. *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. М., 2001.
6. *Авджан Ф.В.* Нормы согласования сказуемого с количественно-именным подлежащим в современном русском литературном языке. Майкоп, 1994.
7. *Русская грамматика. Т. II. Синтаксис / Под ред. Шведовой Н.Ю.* М., 1980.
8. *Краткая русская грамматика / Под ред. Шведовой Н.Ю., Лопатина В.В.* М., 2002.
9. *Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П.* Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
10. *Розенталь Д.Э.* Справочник по правописанию и литературной правке. М. 1989.
11. *Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П.* Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 1994.
12. *Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П.* Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование. 2-е изд., испр. М., 2005.
13. *Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. М., 1982.

Смех в языке

© Н. С. КУПРИЯНОВА

Это просто смешно! Это не смешно! Мне смешно... Вы будете смеяться, но... Смешно сказать!... Просто смех!.. До смешного доходит... Я так смеялся!... Смешинка в рот попала... Не смеши меня... Вы смеетесь надо мной!.. Над кем смеетесь?

Не правда ли, знакомые фразы? Мы произносим их часто, когда не просто смеемся, т.е. издаем “короткие характерные голосовые звуки, выражающие веселье, радость, удовольствие, а также насмешку, злорадство и другие чувства” [1], но определенными словами отражаем смеховое состояние.

Начиная писать о смехе, испытываешь некоторое смущение: кажется, все давным-давно исследовано, описано и классифицировано, как будто понятно, где, когда и почему возникает смех... и одновременно не понятно. Вроде бы смех рождается тогда, когда есть нелепость, глупость, двусмысленность, оговорка и т.п. Но всегда ли? А между тем, интерес к этому явлению разгорелся в глубокой древности и не угасает до сих пор. Причина, конечно же, ясна: смех тесно связан с человеком, способность смеяться и воспринимать смешное отличает homo sapiens от других млекопитающих (Аристотель вообще назвал человека animal ridens – “смеющееся животное”). Человек кажется странным, чужим, заносчивым, высокомерным, глупым, больным и т.п. (в зависимости от ситуации), если не смеется или хотя бы не улыбается тогда, когда, по представлениям других, он *должен смеяться*. В социуме давно сложились стереотипы смеховых ситуаций, когда остается либо искренне смеяться, либо, чтобы не потерпеть коммуникативную неудачу, смеяться по принуждению, либо намеренно не смеяться, противопоставляя себя другим. Именно стереотипы такого рода позволили появиться смеховым (юмористическим и сатирическим) жанрам, профессиональным комикам. Разумеется, далеко не все стереотипы такого рода носят универсальный характер, среди них выделяются национальные, социальные, возрастные, гендерные, темпоральные, индивидуальные, речевые, ситуативные и др.

Науки, объектом которых так или иначе является человек, – философия, психология, культурология, когнитология, семиотика, а также медицина, в частности, психиатрия, – не могли обойти своим вниманием смех и создали свой терминологический аппарат. Термины *смеховая культура, смеховой мир, смеховая парадигма, смеховая ситуация, сме-*

ховая реакция, концепт смеха существуют параллельно с терминами комическое, комизм, комический эффект, юмор, ирония, сарказм и т.п., но, к сожалению, при высокой частотности их употребления понимаются неоднозначно, трактуются то широко, то узко, иногда субъективно в зависимости от целей исследования. Из-за отсутствия единых принципов существующие классификации пока не складываются в единую стройную систему и не позволяют полно и максимально объективно описать этот загадочный феномен. Однако смех снова и снова вербует волонтеров: доказательство тому – огромное количество статей, научных исследований, активное обсуждение смеха на интернет-форумах, причем каждая работа, конечно, вносит что-то новое.

Почему лингвистика может претендовать на первенство в описании смеха? Да потому что, во-первых, смех возникает всегда в коммуникации (не важно, непосредственная она или опосредованная, даже коммуникация с самим собой), а во-вторых, человеческое общение – это, прежде всего, общение с помощью языка. Именно язык, осуществляя функцию хранения и передачи информации, предоставляет действительно объективный материал исследователю смеха.

Анализ многочисленных работ, посвященных смеху, выявляет две основные, генеральные, противоположные по сути тенденции его описания: смех рассматривается, во-первых, как отражение реальности и, во-вторых, как средство воздействия на реальность.

Существуют два пути для лингвистического описания: от языка к смеху и от смеха к языку: 1) язык (орудие) – смех, 2) смех – язык (отражение).

Первое направление, рассматривающее язык как орудие смеха предполагает выявление, описание и классификацию языковых средств, употребляемых в речи для достижения смехового эффекта. Именно это направление в изучении смеха наиболее известно, признанно, традиционно, уходит корнями в античность, опирается на эстетическую категорию *комического* и является предметом стилистики.

Примыкают к первому направлению сравнительно молодые науки – лингвистическая прагматика и паралингвистика, квалифицирующие смех как значимый компонент коммуникации, паралингвистическое средство диалога: звучащий смех – невербальная реакция на вербальную реплику-стимул.

Русский язык располагает значительным арсеналом средств номинации смеха в его широком понимании. При этом семантика основных фразеоло- и лексических номинаций смеха передает положительное национальное отношение к смеху, в том числе громкому и несдержанному – *хохоту*, причем это с точки зрения русской культуры “не только считается нормальным и социально приемлемым, но фактически одобряется” [2].

Огромный потенциал лексической сочетаемости номинаций смеха, их лексико-семантическая валентность указывает, во-первых, на зна-

чимость смеха для национального самосознания, а во-вторых, на основании данных языка позволяет дифференцировать виды смеха: громкий, веселый, заразительный, истерический/истеричный, звонкий, тихий, радостный, задорный, добрый, злой, залиvistый, глупый и т.п.

Стереотипные представления о месте и функциях смеха в межличностной коммуникации отражены в 155 паремиях – пословицах и поговорках, содержащихся в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля [3]. Русские паремии, прежде всего, подтверждают факт существования двух основных видов смеха: смеха радости, удовольствия и смеха насмешливого, оценочного, что соответствует основным лексическим значениям слова *смех* – 1) короткие характерные звуки, выражающие веселье, радость, удовольствие и др. чувства; 2) нечто смешное, достойное насмешки [1]. Однако первая группа пословиц, где смех является выражением чувства радости, немногочисленна: *Веселися, смейся, на бога надейся, да сам не плошай; И рад бы заплакать, да смех одолел; Шутку шутить, людей посмеишь* и некоторые др. Большинство пословиц, основанных на языковой и контекстуальной антонимии, содержат разные типы противопоставлений, самыми важными среди которых являются следующие: смех – горе/беда, смех – грех, смех – слезы, смех – дурак, смех – стыд, смех свой – чужой:

смех – плач: *Кошке смех (игрушки), а мышке слезы, Кто смешился, тот и слезлив; Иной смех плачем отзывается; Плакавши не заплакать, а смехом не задолжать; Делавши, смеялись, а сделавши, плачем; Зачал смеяться, да заплакал; Ранний смех – поздние слезы; Слезливый слезами обольется, а смешистый со смеху надорвется* и др.;

смех – грех: *В чем смех, в том и грех; Молодость не грех, а старость не смех; Что грешно, то и смешно; Сказать – смешно, утаить – грешно; Бедность не грех, а неволя не смех; Красивый (муж) на грех, а дурной на смех; С иным дураком смех, с другим грех; Велик смех, не мал и грех; Смехи да хихи введут во грехи; Убожество не грех, да людям в посмех; И смех наводит на грех* и др.;

смех – горе/беда: *Где горе, там и смех; Чье горе, тому и посмех; Где умному горе – там глупому веселье (смех); Со смехом и беда в полбеда живет* и др.;

смех – смерть: *Людской позор – смех, а свой – смерть; Без хлеба смерть, без соли смех; Дед погибает, а бабе смех; Жена умирает, а муж со смеху помирает* и др.

смех – стыд: *В чем деду стыд, в том бабе смех; Чужой дурак – смех, свой дурак – стыд.*

смех – дурак: *Дураку все смешно; Дураку все смех на уме; Из дурака и смех плачем прет; Из дурака и плач смехом прет; Смешно дураку, что рот на боку; С дураком смех берет, горе тут; С дураком – ни поплакать, ни посмеяться* и т.п.

свое (т.е. не смешное) – чужое (т.е. смешное): *Чужой дурак – смех, свой дурак – стыд; Чужому смеху (беде) хорошо смеяться: посмейся своему; Не смейся, братец чужой сестрице: своя в девицах; Не смейся чужой беде: своя на гряде; Чужая беда – смех, своя – грех; Над другим (другом) посмеешься – над собою поплачешь и др.*

Нельзя не заметить, что противопоставление своего чужому в русских поговорках является скорее универсальной особенностью смеха: по словам А. Бергсона [4], для смеха требуется некое отстранение, отчуждение от ситуации, иными словами, “анестезия сердца”: *Вчуже хороши смешки; Тебе смешно – а мне до сердца дошло (тошно); Поколе до сердца не дойдет, все смешно.*

Но представление о смехе будет неполным, если игнорировать грамматический аспект. На сегодняшний день грамматическое описание концепта смех практически отсутствует, а между тем, именно грамматика открывает новые возможности детализации смеха как языкового явления. Предлагаемый подход (от формы к семантике) заключается в том, чтобы с учетом грамматической семантики, частеречной принадлежности и словообразовательных особенностей подробно изучить природу смеховых номинаций. Материалы толковых и словообразовательных словарей позволяют выявить ключевые семантические категории, проявляющиеся в значениях номинаций смеха: категории *процесса, состояния, субъекта, оценки*.

Процессуальность как семантическая составляющая свойственна, в первую очередь, глаголам и отглагольным существительным. Обращение к словообразовательному гнезду высокочастотной ядерной лексики смех [5], выявляет первичные деривации *смеяться* и *смешишь*, принципиальное различие которых состоит в способности обозначать ненаправленное/направленное действие. Суффиксальное производное *смешишь* (глагол воздействия) фиксирует важную составляющую семантики и закрепленное в языковом сознании русских представление о способности вызывать смех. Значения, приобретенные многочисленными производными глаголами (ведущий способ деривации – префиксация), раскрывают амбивалентный характер смеха. Так, только дериваты совершенного вида демонстрируют значения разных способов действия: начинательности (*засмеяться*), усилительности (*рассмеяться, рассмешишь*), пейоративной результативности (*досмеяться, досмешишь*), финитивности (*отсмеяться*), ограничительности (*посмеяться, посмешишь*), удовлетворенности (*насмеяться*), исчерпанности (*высмеять, высмеяться, просмеяться*), взаимности (*пересмешишь*). Отметим изоморфность подобных значений значениям дериватов других синонимов: *хохотать* и *хихикать*.

Смех как состояние в современном русском языке обозначается предикативным наречием, или категорией состояния *смешно*. Высокая частотность ее употребления ограничена, однако, рамками одной син-

таксической модели: *субъект в дательном падеже + категория состояния*.

Для обозначения *субъекта* смеха русский язык располагает существительными – суффиксальными производными *смехач*, *насмешник*, *пересмешник* и даже такими, как *смехотворец* и *смехун*. Хотя, по нашему мнению, активно употребляются в современном русском языке два существительных со значением субъекта смеха: мужского рода *насмешник* и женского рода *хохотушка*, восходящее к глаголу *хохотать*.

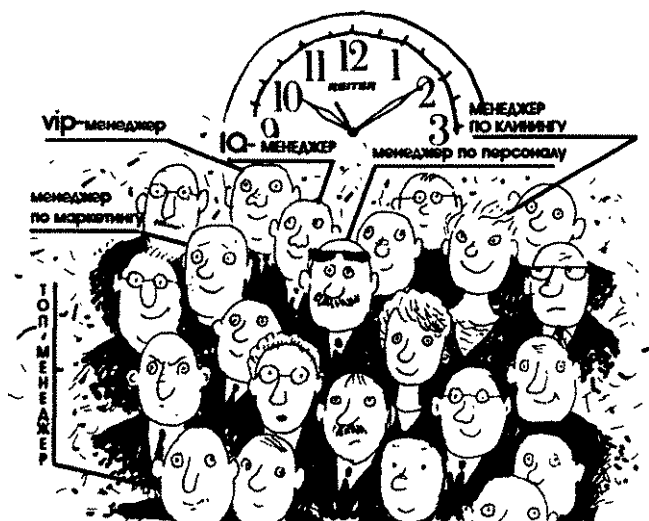
Категорию качественной *оценки* в большей мере выражают прилагательные *смешной*, *смешиноватый*, *смешливый*, *усмешливый*, *смехотворный*, *насмешливый*; существительные *смехота*, *насмешка* и качественные наречия, восходящие к прилагательным.

Даже для *объекта* нашлось производное существительное – *посмешище*.

Грамматический аспект, конечно, не исчерпывается рассмотрением лишь морфологической и словообразовательной природы номинаций смеха. Впереди описание синтаксических моделей, стереотипных формул номинаций смеховых состояний. Однако уже само количество и высокая частотность лексических номинаций, разветвленность словообразовательных гнезд, разноплановость словообразовательных значений и моделей свидетельствуют о том, что этот аспект – еще один перспективный путь изучения смеха в языке.

Литература

1. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 725.
2. Вежицкая А. Выражение эмоций в русском языке: “Заметки по поводу” русско-английского словаря коллокаций, относящихся к человеческому телу // Вежицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 529.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2006.
4. Бергсон А. Смех. М., 1999. С. 15.
5. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 1990.



“Требуются менеджеры”

© Н. В. ИСАЕВА

Слово *менеджер* в русском языке уже имеет свою историю. В середине 80-х годов оно впервые было зафиксировано словарями как английское заимствование. В то время его значение соотносилось с западным образом жизни, капиталистической экономикой и потому имело ярко выраженный оттенок чужеродности, воспринималось в целом негативно, что соответствовало существовавшим идеологическим установкам “свое (социалистическое) – чужое (капиталистическое)”. С этих позиций оно толковалось и в словарях: «*Менеджер*, а, м. 1. Наемный управляющий современным промышленным, торговым и т.д. капиталистическим предприятием. “Жизнь сыграла злую шутку с теми буржуазными пропагандистами, которые поспешили провозгласить, что в США реальная власть перешла от капиталистов к менеджерам, занимающимся организацией производства” (Труд. 1971. 14 июля). 2. О специалисте по вопросам организации управления (в производстве и др. областях). “Ученые поняли, что толковый администратор, или, по-зарубежному, менеджер, если и может помочь в организационных делах, то не может их заменить” (Известия. 1972. 5 дек.)» [1].

После известных политических, социальных, экономических и иных преобразований в российском обществе произошла переориентировка многих слов в соответствии с изменившимися условиями действитель-

ности. А слово *менеджер* получило поистине “второе рождение”. Оно практически вытеснило из активного словарного состава привычное некогда *управляющий*, отразив экономические реалии постперестроенного периода: “*Менеджер* (от англ. *manager* – *manage* – управлять): 1) наемный профессиональный управляющий, администратор предприятия, фирмы, банка и др.; 2) предприниматель в профессиональном спорте, шоу-бизнесе, организующий выступления спортсменов, артистов” [2]. В отличие от русского *управляющий* в слове *менеджер* подчеркивается его более высокая профессиональная квалификация, содержится скрытое указание на инициативность, деловитость работников этого звена, их организаторские способности: “Управляющий – тот, кто управляет каким-л. учреждением, организацией, отделом и т.п. Управляющий трестом” [3].

Сопоставим значение слова *менеджер* с более ранним заимствованием – *администратор*: “Администратор – должностное лицо, управляющее чем-л. Ответственный распорядитель” [Там же]. Очевидна общая нейтральность слова, отсутствие в его семантике квалификационной характеристики лица.

Таким образом, ни одно из упомянутых слов, используемых в качестве синонимов для толкования значения слова *менеджер*, не может заменить его полностью.

Знакомство с разнообразными печатными изданиями, предлагающими работу, позволяет сделать ряд наблюдений о наиболее частотном термине в списке востребованных профессий. Так, *менеджер* в печатной рекламе, как правило, окружен ореолом престижности, популярности и привлекательности. Правда, на “ярмарке вакансий” можно найти менеджеров среди представителей практически всех профессий, что затрудняет понимание служебных требований, предъявляемых к соискателю, дает крайне расплывчатую информацию о характере предлагаемой работы. Для уточнения специализации используются разнообразные термины-композиции и сложные сочетания: *менеджер по продажам, по закупкам, логистике, по таможене, по персоналу, по рекламе, по работе с клиентами, офис-менеджер, менеджер-делопроизводитель, менеджер-аналитик, менеджер-администратор, менеджер-координатор, менеджер по развитию сети, менеджер-консультант, менеджер-оператор, менеджер-технолог* и мн. др.

Некоторые из подобных наименований полностью дублируют англо-американские эквиваленты: *продакт-менеджер, сити-менеджер, маркетинг-менеджер, клиент-менеджер* и т.п., другие в своем составе даже продолжают сохранять написание слов латиницей: *VIP-менеджер, IT-менеджер, CKR-менеджер, Event-менеджер, Development Project Manager, QA-менеджер* и др. Для облегчения понимания значения подобных слов в текстах печатных рекламных объявлений в скобках или рядом со словом дается разъяснение круга обязанностей, вхо-

дящих в компетенцию того или иного менеджера. Например: *QA-менеджер* (организация и проведение работ по регулярному тестированию, подготовка планов и методик тестирования, анализ результатов), *менеджер по франчайзингу* – ведение, согласование, контроль открытия розничных магазинов и т.п.

Внутри отдельных терминосочетаний со словом *менеджер* наблюдается стремление к еще большему разграничению специализации субъекта деятельности: *менеджер по работе с клиентами* – *менеджер по работе с VIP-клиентами*, *с корпоративными*, *с ключевыми*, *с сетевыми клиентами*. Налицо как усложнение специфики работы менеджеров, так и тенденция к разграничению и уточнению узкопрофильного характера их деятельности.

Однако действующая сегодня общезыковая тенденция экономии языковых средств требует, особенно в языке рекламы, большей краткости в оформлении речевого высказывания, поэтому все чаще наблюдается компрессия языковых знаков за счет свертывания значений. Это наглядно проявляется и на примере анализируемого слова: *менеджер по продажам автомобилей* – *автоменеджер*, *менеджер по продаже недвижимости* – *менеджер по недвижимости*, *менеджер по разработке и сдаче проектов* – *проект-менеджер*.

Освоившись в русском языке, слово приобрело и новые значения, не упоминающиеся в языке-источнике, расширило границы сочетаемости с другими словами. Актуальны сочетания данного слова с согласованными определениями (*старший*, *ведущий*, *территориальный менеджер*), а также словосочетания по способу управления (*помощник менеджера*, *ассистент менеджера* и др.). Часто на страницах печатных рекламных объявлений можно встретить и дублирующие друг друга формы: *ведущий менеджер* – *топ-менеджер*. Причем, по опросам потребителей рекламной продукции, второй вариант представляется более престижным, и социально привлекательным.

Появляются и новые слова, образованные сложением целых слов, в том числе с использованием иноязычных вкраплений: *офис-менеджер*, *эконом-менеджер*, *PR-менеджер*, *тренинг-менеджер* и т.п. Например: «Институт репутационных технологий “Арт&имидж” готовит специалистов нового профиля: PR-менеджер – специалист, управляющий имиджем и репутацией компании; бренд-менеджер – специалист, отвечающий за конструирование бренда и реализацию продукции под определенной торговой маркой» (Столичное образование. 2007. Октябрь). Все это свидетельствует о языковой моде на данное слово.

Составители текстов печатной рекламы используют разнообразные психологические приемы воздействия на потребителей, в том числе и привлекательность “звучания” новых (в большинстве своем заимствованных) слов. Но когда полюболюбившееся слово используется там, где оно вполне может быть заменено русским эквивалентом, это порой вы-

зывает у читателей комическое недоумение. Например: “Требуются: *менеджер склада* (заведующий складом?), *финансовый менеджер* (казначей?), *менеджер-водитель* (управляющий машиной?), *менеджер по клинингу* (уборщица?!)” и пр.

И, тем не менее, слово *менеджер* прочно обосновалось в русском языке, отражая реальности нашей экономической жизни, а также процессы, характерные для развития современной лексики.

Литература

1. Макарова А.А. Детерминологизация единиц экономики и бизнеса в современном русском языке. Автореф. канд. дисс. М., 2007.
2. Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов. М., 2003.
3. Словарь современных понятий и терминов / Под ред. В.А. Макаренко. М., 2002.



Орфографическая “задача”

© Н.А. ЕСЬКОВА,
кандидат филологических наук

Впишите пропущенные буквы (предварительно закрыв помещенные ниже ответы):

1. Музей-усадьба А.П. Чехова **Мел...хово**
2. Герой “Тихого Дона” Григорий **Мел...хов**

Правильно:

1. Мелихово
2. Мелехов

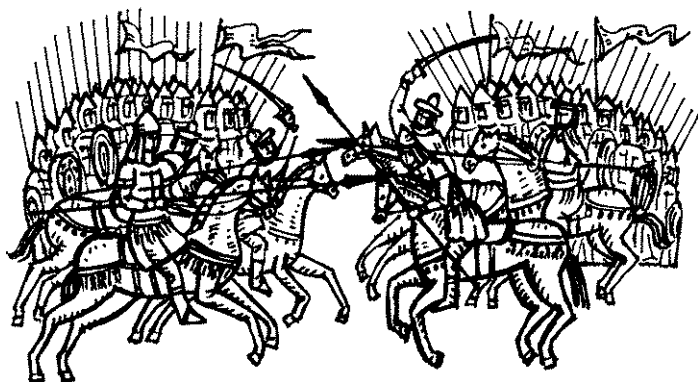
Если ошиблись, не огорчайтесь слишком сильно: с правильным написанием фамилии героя Шолохова не справляются также журнал “Наука и жизнь” и “Литературная газета”:

[Ответ на “Кроссворд с фрагментами”]: «**20.** [по вертикали] Есаул (казацье воинское звание; приведен кадр из фильма “Тихий Дон” С. Герасимова; персонаж этого фильма *Г. Мелихов* в соответствующее время имел звание есаула)» (Наука и жизнь. 2006. № 11);

«Если оставить в стороне роман-эпопею, которая в строгом смысле романом не является, а является эпосом, использующим романый каркас (пример: love-story Аксиньи и *Мелихова* в качестве каркаса “Тихого Дона”), то роман это, конечно же, удивительно “женский” жанр» (Лит. газета. 2007. № 43).

А несколькими годами раньше “Литатурка” написала о чтении на телевидении Олегом Ефремовым “Моей жизни” Чехова. “Его, уже очень больного, привозили в *Мелехово*, где после долгих медицинских процедур он мог какое-то время работать” (Лит. газета. 2000. № 50–51). Это не опечатка: написание *Мелехово* повторяется там же еще три раза.

Запомнить правильное написание этих собственных имен мне помог “мнемонический прием”: Мелехов – Шолохов. А название музея-усадьбы Чехова пишется иначе, следовательно – Мелихово.



Повесть о битве на Скорнице
в летописании XV–XVI веков

© Н. В. ТРОФИМОВА,
доктор филологических наук

В летописях XV–XVI веков под 1371 или 1372 годом помещена небольшая повесть о битве между войсками Дмитрия Московского и Олега Рязанского. Битва эта произошла из-за того, что Дмитрий отказался вернуть Рязани Лопасню, обещанную Олегу за помощь во “второй Литовщине”, ссылаясь на то, что Олег не принял участия в сражении. Тогда рязанский князь захватил Лопасню, а московский отправил против него войско во главе с Дмитрием Боброком-Волынским [1. С. 58].

Ранняя редакция повести в кратком варианте содержится в Симеоновской и Рогожской летописях, а в более пространным – в Софийской I и Новгородской IV. Летописцы сообщают о выходе против рязанцев московских воинов во главе с Дмитрием Волынским и сборе большого войска Олегом. Автор Рогожского летописца кратко охарактеризовал рязанцев: “Рязанци же сурови суще...” [2. С. 98], а в Софийском своде описаны враги московского войска, с помощью трех определений и глагольного трехчлена: “тогда рязанци сурови человеци и сверепиши и людие високоумни суще, възнесъшеся мыслію и възгордешася величанием, и помыслиши високоумием своим...” [3. С. 440. Курсив здесь и далее наш. – Н.Т.]. Эта авторская характеристика в обоих сводах дополнена прямой речью рязанцев, в которой они преувеличивают слабость противников, предлагая вместо оружия взять с собой только веревки, чтобы вязать пленных: “не емлите с собою доспеха, ни щита, ни копиа, ни иного оружиа, но токмо емлите с собою едины ужища кождо вас, имъ-

же вы есть вязати Москвичь, понеже суть слаби и страшливи, и некрепци” [2. С. 98–99; ср.: 3. С. 440].

Результат битвы – поражение рязанцев – комментируется летописцами с помощью трех цитат. В Рогожском летописце они следуют за сообщением о победе москвичей, а в Софийской летописи предваряют описание битвы, продолжая мысль о том, что Бог покровительствует смиренным, а не уповающим на силу: «яко же рече Соломон: “Господь гордым противиться, а смиренным дает благодать”. И в Евангелии рече: “Всяк възносяся смириться, а смиряяся възнесется”. И Давид пророк рече: “Не спасется царь многою силою, ни исполин, ни храбор не спасется множеством крепости свое”» [2. С. 99; ср.: 3. С. 440].

Обе ранние редакции повести отражают московскую позицию по отношению к междоусобной битве: москвичей летописцы называют “наши”, подчеркивая их упование на “Бога, Иже не в силе, но в правде, дает победу и одоление” [2. С. 99; 3. С. 440], а рязанские воины получают характеристику гордецов, унижающих воинские качества противников, за что они и наказаны поражением.

Большая распространенность второго текста создается не расширением фактических данных, а увеличением количества приемов экспрессивного стиля. Помимо уже упомянутых случаев можно отметить, что в Софийской I летописи описание битвы содержит два синонимичных оборота с эпитетами вместо одного, приведенного в Рогожской: “И бысть им бой” [2. С. 99] – “И бысть им брань люта и сеча зла” [3. С. 441]. Хотя эпитеты, использованные вторым летописцем, вполне традиционны, а сами обороты представляют собой варианты формулы начала битвы, они делают более выразительным фрагмент Софийской летописи по сравнению с Рогожской.

В последующей традиции переработка летописцами текста повести шла по двум направлениям. В Московской Академической летописи, которая в этой части отражает текст Ростовского владычного свода [4. С. 724–732], и в сокращенных сводах (Московских 1497 и 1518 гг., Владимирском), Тверском сборнике, общерусском провинциальном Устюжском летописце по списку Мацеевича, местном Архангелогородском летописце редакторы в разной степени уменьшают ее объем. В Московских сводах из текста исчезают приемы экспрессивного стиля, снимаются библейские цитаты, сохраняется лишь основная событийная канва.

В Московской Академической летописи хвастливая речь рязанцев снята полностью, а в устюжских летописях редакторы заменяют ее сообщением: “Рязанцы же гордомыслии не хотеша с собою сабель и копей имати, хотеша ремение и взенцы имать” [5. С. 33, 74]. Для характеристики рязанцев устюжские летописцы вместо ряда эпитетов используют только один выразительный *гордомыслии*.

В описании сражения, помимо формулы начала битвы, использовавшейся в предшествующих сводах, в Московской Академической ле-

тописи редактор вводит формулу бегства рязанцев “в мале дружине” [6. С. 534], а устюжский летописец начало битвы определяет сочетанием, не встречавшимся в других сводах в этой повести: “Бысть им сеча люта”.

Таким образом, в этих сводах повествование обретает более объективный характер, лишенный ярких характеристик противоборствующих сторон, минимально используются изобразительные средства.

В летописном своде 1497 года (как и в своде 1518 г.) редактор сохранил событийную канву повести, сократив не только прямую речь (она здесь звучит так: “Не емлем никоего оружия, но ужища чим москвичь вязати” [7. С. 76]), но и цитату, и все авторские размышления о ходе событий. Он отказался и от приемов экспрессивного стиля, характеризовавших противников, которые вступили в битву. В результате повесть превратилась в расширенную погодную запись, передающую только основные события похода. Такой рационально-деловой подход к фиксации событий был характерен для сокращенных сводов в целом.

В Тверском сборнике вместо повести появляется единственная фраза: “На зиму поиде князь великий Дмитрей на Олега рязанского, и съгна его с Рязаны, а посади Пронскаго Володимера” [8. С. 431]. На таком сокращении рассказа могла сказаться местная позиция летописца: в эпоху описанной битвы московский князь соперничал с тверским в борьбе за великое княжение, и подробное описание его победы, вероятно, не привлекало тверского летописца.

В целом появление сокращенных редакций повести вызвано, очевидно, отдаленностью события от пишущих по времени и, в общем, незначительностью его для последующей истории Руси.

В пространных московских летописях (Великокняжеском 1479 г., Воскресенском и Никоновском сводах) находим прямо противоположную тенденцию.

Если автор Софийского свода расширил отрицательную характеристику рязанцев в сравнении с Рогожской летописью, то редактор Московского свода усилил эту характеристику, добавив к ряду эпитетов еще один: *палаумные людцища* [9. С. 255]. Примечательно, что экспрессия выражена и существительным с помощью суффикса, имеющего увеличительное значение, и прилагательным с оценочным смыслом. В сцену битвы, помимо существовавших ранее, редактор ввел формулу судьбы побежденных – “Рязанци же побегоша, мнози же от них избиени быша, а инии изъимани” (Там же). С помощью постепенного накопления воинских топосов форма повести становится все более традиционной.

Еще одно изменение связано, видимо, со стремлением редактора к строгой логике повествования. В Рогожском своде рассуждение о том, что Бог наградил москвичей за смирение, а рязанцев наказал за гордость, следовало за сообщением об исходе битвы и было оторвано от

характеристики враждующих сторон. В Софийском своде это отступление, сопровождаемое тремя цитатами о смирении и гордости, представлено и следует непосредственно за характеристикой рязанцев и москвичей, предваряя повествование о битве. Редактор Московского свода предложил третий вариант расположения фрагментов. Он продолжил рассуждение о смирении и гордости, прямо определив ход событий: “Бог... призре на смиренных смиренным оком” (Там же), и снял цитату из Притч Соломона. Тем самым он кратко и логично подытожил характеристику героев и связал ее непосредственно с ходом событий. Две оставшиеся цитаты (из Нового Завета и Псалтыри) летописец перенес в конец текста, как было в Рогожском своде, и дал с их помощью характеристику участников битвы, введя ее словами: “О таковых бо рече Господь...” (Там же).

Таким образом, в Московском своде 1479 года перестановки придают тексту логическую последовательность, а стилистические изменения направлены на четкую расстановку акцентов в характеристиках героев и отчетливое выражение авторской позиции.

Продолжение той же работы находим в Никоновской летописи. Хотя она ближе всего стоит к редакции Московского свода 1479 года и Воскресенской летописи, редактор еще больше усилил негативную характеристику рязанцев, подчеркнув их гордость: “Рязанци же люди сурови, сверепы, високоумни, горди, чаятелни, вознесиши умом и возгордешися величанием, и помыслиши в високоумии своем палоумныя и безумныя людища, аки чюдища...” [10. С. 16]. Выразительность характеристики достигается не только длинным рядом синонимов и тавтологическими повторами (*высокоумни* – *в високоумии* – *вознесиши умом*, *горди* – *возгордешися*), но и морфологическими рифмами, которые создаются рядом стоящими словами (*палоумныя* и *безумныя*; *людища*, *аки чюдища*), а также появлением второго слова с увеличительным суффиксом в сравнении.

Параллельно с усилением характеристики врагов редактор подчеркивает смирение русского войска.

В Никоновской летописи редактор расширил перечисление небесных покровителей, на помощь которых уповали московские воины; дважды пространно выразил мысль о покровительстве Бога смиренным, в том числе с помощью цитаты из Псалтыри, которой не было в других вариантах текста; наконец, ввел два глагола-антонима, выражающих активное действие. Благодаря этому авторская мысль оказалась воплощена отчетливо и эмоционально.

Сходные дополнения введены в речь рязанцев, решающих не брать с собой оружия, перечень видов которого увеличен по сравнению с предыдущими вариантами повести: “не емлем собе ни щит, ни копии, ни иного которого оружья” [9. С. 255] – “не емлите с собою доспехов, ни щитов, ни копей, ни сабель, ни стрел” [10. С. 16], воинам предлагается

взять лишь “едины ужища” [9. С. 255; веревки, канаты. – *Н.Т.*; 11. С. 1167], в Никоновской летописи “взени [веревки, арканы. – *Н.Т.*; 12. Вып. 2. С. 151] едины, и ремение [ременный бич, кнут, ременная плеть. – *Н.Т.*; 12. Вып. 22. С. 141], и ужища” [10. С. 16], чтобы вязать москвичей. Редактор Никоновского свода не следует за предшественниками, у которых эта деталь служила лишь для характеристики самоуверенности рязанцев, он показывает последствия этого безумного решения для судьбы рязанского войска: “Рязанци убо махающиеся взенми и ремением и ужищи, и ничтоже успеха, но падоша мертвыя, *аки снопы, и, аky сви- ньи, заклани быша*” [10. С. 17]. Гипербола, содержащаяся в словах рязанских воинов, реализуется летописцем в реальном событии, в результате чего возникает картина битвы, граничащая с фантастической.

Таким образом, речь эта приобретает сюжетное значение, прямо показывая развитие действия. Если авторы предшествующих редакций кратко говорили о битве, используя только формулу, которая в некоторых редакциях распространялась, то в Никоновской летописи нарисована гротескная живописная картина сражения, представляющая собой своеобразный авторский домысел. Гибель рязанцев изображена с помощью сравнений, не встречавшихся в более ранних редакциях этой повести. Это воинские формулы, использовавшиеся в повестях XV–XVI веков для усиления эмоционального впечатления от унижения гордых своей силой врагов.

В Никоновской летописи благодаря незначительным в фактическом отношении дополнениям редактору удалось превратить выразительное, но достаточно сдержанное в стилистическом отношении повествование в наделенное, наряду с традиционной дидактичностью, эмоциональное и ироническое описание событий, достигнутое за счет увеличения синонимических рядов и введения сравнений.

Наблюдения над стилистической работой летописцев XV–XVI веков приводят к выводу о сохранении некоторых черт местного летописания в это время. Находясь в окружении великого князя московского и пытаясь представить историю Руси с древнейших времен, летописцы, безусловно, хотели показать московских князей как наследников воинской славы предков. Для достижения этой цели редактор Московского свода XV века стилистически приблизил повествование к традиционной форме воинской повести и усилил уже существовавшие в ранних вариантах текста положительные оценки московского воинства.

Редактор крупнейшего общерусского свода XVI века, созданного в Москве, стремясь к достижению той же цели, пошел по иному пути: он последовательно воспользовался приемом контраста, подчеркивая достоинства московских воинов и недостатки рязанских с помощью разнообразных художественных средств.

Для летописцев же, работавших в других землях недавно объединенного Московского государства, и тех, которые составляли сокра-

щенные своды, события конца XIV века, видимо, представлялись малоинтересными: междоусобные битвы в борьбе князей за власть остались в прошлом, и описывать их в подробностях уже не имело смысла.

Литература

1. Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. М., 2004. Кн. 2.
2. Рогожский летописец // ПСРЛ. М., 2000. Т. 15.
3. Софийская I летопись старшего извода // ПСРЛ. М., 2000. Т. 6. Вып. 1.
4. Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М., 2001.
5. Устюжские и вологодские летописи // ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37.
6. Московская Академическая летопись // ПСРЛ. М., 1997. Т. 1.
7. Летописный свод 1497 г.; Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись) // ПСРЛ. М.-Л., 1963. Т. 28.
8. Тверской сборник // ПСРЛ. М., 2000. Т. 15.
9. Московский летописный свод конца XV века // Русские летописи. Рязань, 2000. Т. 8.
10. Никоновская летопись // ПСРЛ. М., 2000. Т. 11.
11. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. III. Ч. 2.
12. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975.





Рифма в житийных текстах

© О. В. ГЛАДКОВА,
кандидат филологических наук

В житийных памятниках XI–XVI веков рифма встречается довольно часто. Неслучайность этого явления подтверждается последовательной постановкой в рукописях строчных акцентных знаков – точек и запятых – в “нужных” местах, в соответствии с рифмой и ритмом. О ритмической организации текста и рифме в переводных и оригинальных славянских и древнерусских произведениях писали К.Ф. Тарановский, А.М. Панченко, Р. Пиккио, О.И. Федотов, Е.М. Верещагин и др., при этом появление точной рифмы признавалось скорее случайностью, несмотря на наличие ярких примеров [1]. Неточная рифма (гомеотэлевты – рифмоподобные созвучия), чаще встречающаяся в средневековых текстах, подвергалась более детальному анализу. Отметим также, что литературные памятники справедливо рассматривались вне оппозиции “стих–проза”, и появление в них рифмы и ритма объяснялось стремлением к риторической украшенности текста.

В настоящей статье мы остановимся на случаях преимущественно точной, строгой рифмы на некоторых примерах из рукописных текстов “Жития Евстафия Плакиды”, переведенного на Руси скорее всего в XI веке и сразу завоевавшего широкую популярность, и “Повести о Петре и Февронии”, написанной русским писателем Ермолаем-Еразмом приблизительно в 40-е годы XVI века. Мы попытаемся выявить рифмующиеся фрагменты, сделать их первоначальную классификацию и затем

определить функции появления рифмы в произведениях, в которых очень сильно ритмическое начало, что выражается посредством целого арсенала специфических средств (графики, орфографии и т.д.).

“Житие Евстафия Плакиды” рассказывает о крещении добронравного язычника, которому явился Божественный олень с крестом над рогами, об испытаниях, настигших новокрещеную семью Плакиды, о счастливом воссоединении и мученической кончине праведников-страдальцев. В “Житии Евстафия” рифма может объединять до шести ритмических единиц:

“алчущая *напитая*,
жаждущая *напая*,
нагая *одевая*.
впадающим в беду *помагаа*.
ис темницъ *изимая*.
и всем людем отнюд *помагая*” [2].

Приведенные строки – из начальной похвалы Плакиде, пока еще язычнику, являются перифразом 145-го Псалма, ставшим этикетной формулой в агиографии и похвале-энкомии. Так, 145-й Псалом цитируют и митрополит Иларион в “Слове о Законе и Благодати” (прославляя князя Владимира, которого, кстати, на Руси считали вторым Евстафием Плакидой), и Ермолай-Еразм, вознося похвалу Петру и Февронии:

“странныя *приемлюще*.
алчныя *насыщающе*.
нагая *одевающе*.
бедныя от напасти *избавляюще*” [3].

Конечно, сама ориентация на Псалтырь, с ее сложной ритмической организацией, уже подсказывала здесь переводчику (в греческом тексте “Жития Евстафия” этого пассажа нет) и русскому автору мелодику текста. Но рифмующиеся многочлены встречаются и дальше, в “Житии Евстафия” они наиболее часты в начальном эпизоде – Чуде об олене, в котором рассказывается о явлении самого Иисуса Христа для спасения язычника Плакиды. Здесь одна из функций рифмы, особенно многочленной, – сакрализация текста. При этом могут рифмоваться фразы, отстоящие друг от друга на одну-две нерифмующиеся ритмические единицы:

“и начат [Плакида. – О.Г.] с ними [с воинами. – О.Г.] *гонити по нем*.
гонящим же им изнемогоша вси.
плакыда же един начат *гонити по нем*.
отлучи же ся далече от дружины.
долго же гонящу ему.
елень тыи възыде на камень высок и ста на *нем*”.

Далее в тексте лишь один раз встречается тройная рифма – в плаче Евстафия после потери жены и детей. Плач во многом опирается на Псалтырь и является одной из кульминаций произведения:

“увы мне иногда яко *цветущу*.
ныне же *обнажена*.
увы мне иногда *богату бывшу*.
ныне же *акы пленену суцу*”.

Кроме того плач подчеркивает сакральную параллель “Жития” – “Плакида – библейский страдалец Иов”.

Парных рифмующихся конструкций в следующих после Чуда эпизодах достаточно много. Рифмуются одни и те же слова (таких конструкций большинство), например, в словах Христа из второго разговора Плакиды [т.е. после крещения. – *О.Г.*] с Ним, где сакрализующая функция рифмы очень сильна:

“ныне *сѣвлѣклѣся еси ис тленнааго человека*.
и *оболѣклѣся еси в неистленнааго человека*”.

Интересно использование такой рифмы при обозначении фактически разных субъектов действия: нищий Плакида, издавек узнав своих друзей-воинов, стал сетовать на свою судьбу, но тут раздался глас с небес, предвещающий ему скорое воссоединение с семьей. Чтобы показать неведение человека и всеведение Бога, автору достаточно было сказать:

“*сиа же глаголюще ему*
[здесь *глаголет* Плакида. – *О.Г.*],
услыша глас с небесе *глаголющъ ему*
[а здесь уже *глаголет* Бог. – *О.Г.*]”.

Заметно, что рифмующиеся фразы выступают в роли риторической пометы, выделяющей какой-то момент содержания и одновременно украшающей текст, как, например, изящное равноударное двустипение из рассказа о постигших семью Плакиды несчастьях:

“Видевше же *татие отшествие их*.
в нощи *восхитиша имениа их*”.

Еще один пример рифмующихся одинаковых слов из эпизода встречи Плакидой воинов, некогда служивших ему:

“и *ста при пути и противу има*.
близ же его *бывшема има*”.

Могут рифмоваться одни и те же части речи, как, например при описании возвращения Плакиды после удачного похода на “варваров”:

“имение много *несыи*.
боле же *пленники ведыи*”.

Иногда автор виртуозно рифмует разные части речи, так, жена Плакиды, которую у семьи отнял владелец корабля в уплату за переезд, воссоединившись с мужем через 15 лет, с гордостью сообщает ему:

“никто же не оскверни мене.
до днешняго дне”.

В “Повести о Петре и Февронии” многочисленные рифмы встречаются, за малым исключением, преимущественно во вступлении, где Еромолай-Еразм рисует сложную картину мира, в котором сокрыта тайна Святой Троицы. По сути, вступление представляет собой акростих [4]. В акростихе, так же, как и в наиболее сакрализованных эпизодах “Жития Евстафия Плакиды” присутствует череда рифмующихся фраз и слов, только заключенная в значительно более сложную структуру:

“единому божию естеству *безначальному.*
купно в троицы *воспеваемому.*
и хвалимому.
и славимому.
и почитаемому.
и превозносимому.
и исповедуемому.
и веруемому.
и благодаримому содетелю и творцу.
невидимому и неопisanному”.

Далее в тексте рифмующихся конструкций значительно меньше, их вообще гораздо меньше, чем в “Житии Евстафия”, но они также появляются не только в минуту наибольшего эмоционального напряжения, но и в момент, важный для понимания сакрального смысла событий. Так, эпизод чуда с зацветшими деревцами, которое случилось по благословению Февронии, начинается со слов: “на брезе же том блаженному князю Петру на вечерю его ядь *готовляху.* и потче повар его древца малы на них же котлы *висяху”.*

Рифма выделяет эпизод Чуда с деревьями, который несет в себе большую символическую нагрузку, целую пирамиду подтекстов, укажем лишь на некоторые из них: зацветшие на берегу реки деревья – это и “дерево, посаженное при потоках вод ... лист которого не вянет” (Пс. 1; 3), и зацветший жезл Аарона (Числ. 17), и соотносимый с ним корень Иессеев, то есть род, из которого по пророчествам вышел Иисус Христос (Мф. 1; 6). Дерево–жезл–корень Иессеев, прообразуют в христианской традиции и Крест, воздвигнутый во спасение, и Того, Кто на нем был распят, и саму Богородицу (символический прообраз Февронии), в которой воплотилась Троица (ср.: “В тебе троическое таинство поется...” – из Службы Рождеству Богородицы).

Рифмой отмечена и сцена кончины святых, когда Петр трижды посылает к Февронии призыв умереть “купно”:

“он же вторицею послав к ней глаголя уже бо мало пожду тебе.
и яко же третицею присла глаголя уже хошу преставитися и не жду тебе”.

Но наиболее поразительный случай появления не просто рифмованных строчек, но практически настоящего стиха – слова Февронии о том, на каком условии, определившем всю дальнейшую судьбу героев, она исцелит Петра:

“Аз есмь хотя и [его. – О.Г.] *врачевати*.

но имения не требую от него *приятти*.

имам же к нему слово *таково*.

аще бо не имам быти супруга ему не требе ми есть *врачевати его*”.

Как такой текст мог быть написан в 40-е годы XVI века еще до появления силлабических вирш, требует дополнительного изучения.

Думается, что приведенных примеров достаточно хотя бы для того, чтобы убедиться, что точная рифма (как и неточная) не была случайной в рассматриваемых текстах и отличалась разнообразием. Конечно, изучение рифмы и ритмики в житийных и других памятниках средневековой книжности должно быть продолжено, и наши выводы носят лишь предварительный характер. Если же опираться на приведенные данные, то функции рифмы в житийных текстах следующие: многочисленные рифмы сопровождают более сложные участки текста, имеющие разветвленную структуру, где рифма была призвана раскрыть сакральную сущность происходящего, участвовать в создании космогонической картины мира или обозначать судьбоносные повороты сюжета, имеющие глубокий сакральный подтекст. Перед более простыми рифмовыми конструкциями задачи несколько суживались: они отмечали важные моменты содержания (в том числе и сакральные), акцентировали какую-либо мысль, подчеркивали нужный аспект в осмыслении того или иного фрагмента. Видимо, любая рифма сама по себе являлась для средневекового книжника свидетельством проявления Божественной гармонии в земной жизни. В то же время любая рифма выполняла функцию риторического украшения. Рифма, таким образом, выступала как один из компонентов идейно-художественной структуры произведения. В тексте, читаемом вслух, она по-видимому, была призвана активизировать внимание слушателей: ведь, согласно древнейшему Студийскому уставу, “Житие Евстафия Плакиды” читалось целиком во время Службы, о таком же чтении свидетельствуют пометы на некоторых списках “Повести о Петре и Февронии”.

Литература

1. Федотов О.И. Основы русского стихосложения. М., 1997.
2. Житие Евстафия Плакиды. Рукопись XV в. РГБ. Ф. 304. № 666.
3. Повесть о Петре и Февронии. Рукопись XVI в. ГИМ. Собр. Хлудова. № 147 Д.
4. Пиккио Р. Orthodoxa // Литература и язык. М., 2003.



Дед и внук – Грозные

© А. Н. ШУСТОВ

*Иоанны III и IV, оба прозванные
“грозными”, не отличались смирением.
В.Г. Белинский*

Многие русские самодержцы по характеру и результатам своего правления получили от потомков оценочные прозвища: *Тишайший*, *Благословенный*, *Освободитель* и др. Это были неофициальные имена-характеристики, которые сегодня не совсем и памятливы. Лишь прозвание первого русского царя Ивана IV – *Грозный* – настолько “приросло” к нему, что со временем даже превратилось в некое подобие фамилии. Смысл этого определения не совсем понятен. У историков нет единого мнения: приобрел ли царь свое прозвище за жестокость к врагам Руси или – по отношению к подданным. В любом случае – “память о нем кровава и страшна” (В.Г. Белинский).

Этимология прилагательного *грозный* проста. А вот история его как царского титула представляет немалый интерес.

С давних времен это было не прозвище, а эпитет-определение русских князей. Восходит он к общеславянскому существительному *гроза* – “страх, ужас” и имеет множество синонимов с “грозным” значением: “строгий, суровый, крутой, жестокий, страшный, жуткий, зловещий, нещадный и т.п.” [1]. Эпитет встречается уже в “Слове о полку Игореве”: “Святослав грозный, великий [князь] Киевский”. Правда, на самом деле, по мнению академика Д.С. Лихачева, Святослав “грозным” не был, напротив, это был один из слабейших киевских князей; автор “Слова” идеализировал его. Слово *грозный* часто сопутствовало официальному титулованию старейших русских князей, хотя само в титул и не перешло [2].

Приведем примеры из других памятников: “Ты, князь наш, грозен множеством вои”; русская земля славна “князьями грозными”; “Поиде грозный князь Александр в Татары” и др. [3]. Все эти герои были грозны(ми) своей силой для внешних врагов, которых они приводили в страх и трепет.

Иное дело ситуация на Руси XV–XVII веков.

Московское Царство “вошло в Европу” не во времена Петра I, а на два века раньше – при царе Иване III (1462–1505). Этот государь отли-

чался сердечной черствостью и крутым нравом, с годами перешедшими в деспотизм и жестокость. “Изменения в характере нашли отражение и в последнем прозвище Ивана III – Грозный” [4]. При всех симпатиях историков к его личности, оправдывать и смягчать его нрав нет необходимости: он был сыном своего времени и вполне заслужил это прозвание. По словам Н.М. Карамзина, Великий князь имел в своем нраве “природную жестокость”, но умирал ее “силою разума”. При нем русские люди “начали удивлять все иные народы своею беспредельною покорностию воле Монаршей. [Ивану III] первому дали в России имя *Грозного*, но в похвальном смысле: грозного для врагов и строптивых ослушников” (Н.М. Карамзин. История государства Российского).

Именно *дали!* Ведь даже в те, далеко не “вегетарианские”, времена ни один владыка не осмеливался сам себя именовать *Грозным* (особенно по отношению к своему народу). Наш современный автор дополняет Карамзина: “...Иван III, носивший позже забывшееся прозвище Грозный, но не за бесцельно проливаемую кровь, а за твердость и непреклонность, проявленные им при объединении Руси” [5]. Сравните у Белинского: к лучшим страницам романа И.И. Лажечникова “Басурман” “принадлежат те, где является грозное лицо Иоанна III, деда настоящего Грозного”.

Царь Иван IV характером походил на своего немилосердного деда. Но в отличие от Ивана III никакого удержу в своем буйном и жестоком нраве не имел. Ныне это считается чуть ли не генетической наследственностью Рюриковичей. Впрочем, еще князь А.М. Курбский считал царский род “издавна кровопивственным”. При Иване IV было пролито немало русской крови, царство его держалось на терроре и тотальном страхе: достаточно вспомнить зверства опричников и расправу с новгородцами (1570 г.).

Начало *грозной* идеологии (и царского прозвища) было положено еще при жизни самого Ивана IV и под его “контролем”. Перечитаем внимательно памятники XVI века.

Специалистам по истории средневековой Руси давно известны сочинения, приписываемые публицисту XVI века И.С. Пересветову, в том числе – “Сказание о Магмете-салтане” и “Большая челобитная”. Первое – это “рекомендации” молодому царю Ивану IV, как править страной (о необходимости реформ), а второе – о претворении этой “программы” в жизнь, о развитии государства. Оба произведения относятся к середине XVI века, – до Стоглавого собора и покорения Казани, когда “счастье боевое” было на стороне Москвы, а массового террора внутри царства еще не было.

В “Сказании”, в частности, говорилось: “Без таковые *грозы* правду в царство не мочно ввести <...> Как конь под царем без узды, так царство без *грозы*. <Царь> правду в царство свое ввел и великие и *грозные* знамяна им указал <...> Не мочно царю царства без *грозы* держати” и

т.д. – всего девять раз [Курсив наш. – А.Ш.; 6. Комментарий о *грозе*. С. 304–305].

Эта же самодержавная идея звучит и в другом памятнике того времени: для процветания царства в своей деятельности “достоит царю грозну бытии” [7. С. 166]. Строгость (т.е. *гроза*) в (у)правлении признавалась тогда в качестве единственного отеческого воспитательного права. А ведь государь – тот же отец своим подданным! В “Беседе Валаамских чудотворцев” (сер. XVI в.) прямо сказано: “Аще в мире о сем всегоднем посту не царская всегодная гроза, ино в волях своих не каются по вся годы, ниже послушают попов” [7. С. 175, 188–189]. То есть: если бы не царская гроза, то добровольно никто не стал бы ни каяться, ни слушать попов. Не случайно и в “Домострое” (XVI в.) о строгости воспитания детей родителями рекомендовалось “положить на них грозу” (Гл. 17). Царскую грозу предлагалось распространить даже на монастыри, чтобы монахи не смели, например, брить лица. Обыватели считали строгость-грозу своего господина в порядке вещей, как гарантию порядка и своеобразную “защиту”: “... аз всеми обидим есмь, зане не огражден есмь страхом грозы твоея, аки оградом твердым” (Моление Даниила Заточника).

Одним словом, без государевой строгости не мог (не должен был) обходиться никто, поскольку царю надлежало “отвещати крепко за весь мир паствы” перед Всевышним (рукопись XVI в.).

Вернемся к сочинениям Пересветова. Аналогичные идеи высказаны им и в “Челобитной”: “... не будет <...> правды по всею подсолнечною, яко на твоём царстве государстве, от твоей мудрости и великия грозы <...> так пишут о тебе, о благоверном царе: ты – государь грозный и мудрый” [6].

Сегодняшние исследователи серьезно оспаривают факт существования Пересветова: фигура эта – легендарная, а то и вовсе – псевдоним. Как убедительно показал историк Д. Аль (Д.Н. Альшиц), автором “Сказания” являлся А.Ф. Адашев, тогдашний глава правительства, пользовавшийся большим доверием царя, а “Челобитной” – сам Иван IV [8]. Это означает, что, во-первых, прозвище *Грозный* появилось в окружении царя, а во-вторых, еще до создания им опричнины и периода массовых казней. «Многokrатно повторенные в “Сказании” призывы к государю быть грозным, казнить и жечь провинившихся подданных были усвоены и подхвачены автором “Большой челобитной”, а затем и претворены им в жизнь» (Д. Аль).

Прозвище *Грозный* прочно закрепилось за Иваном IV. В известной степени он сам немало “теоретически” способствовал этому.

Как известно, Иван IV панически боялся смерти: “Болезнь совесть Грозного заставляла его думать о смерти и о загробных мучениях” (Д.С. Лихачев). В один из таких приступов страха (1572 г.) набожный царь сочинил покаянный церковный “Канон Ангелу Грозному воево-

де". Имени Ангела автор не назвал, однако из его текста следует, что речь идет об архистратиге Михаиле. Образ этого архангела, по средневековым представлениям о нем, в чем-то был очень схож с образом самого царя: в характере Михаила "светлое и мрачное чередуется". "Борясь за добро, он часто бывает яростен; иногда он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией <...> Его больше боятся и чтут, чем любят", – писал в 1917 году историк О.А. Добиаш-Рожественская [9]. Похоже характеризует образ архангела и мыслитель Павел Флоренский.

То есть сочиненный царем канон отчасти "автобиографичен". В старопечатном тексте канона (кстати, посвященном не одному лишь арх. Михаилу, а нескольким ангелам), помещенном в Интернете, дана сноска: "Вильна, ок. 1522 г.". Действительно, канон входил в "Малую подорожную книжицу", изданную в названный год Фр. Скориной на (бело)русском языке. Возможно, именно этот "первоканон" и послужил царю Ивану в качестве "основы" для его оригинального сочинения. Однако в этом старинном тексте определение ангела *грозный* отсутствует. Напомним, что Иван IV любил церковное пение и сам частенько пел на клиросе; канон архангелу – не единственная сочиненная им "молитва".

В своем каноне царь обращается к "Ангелу Грозному" и Богородице с просьбой о прощении грехов и спасении. Определения (арх)ангела *Страшный*, *Грозный* в каноне встречаются многократно: *грозный ангел*; *грозный воевода*; *грозный посланник вышнего царя*; *грозное восхождение твое...* [10]. Одно из определений архангела Ивана IV, сохранилось в названии древней молитвы, написанной в церкви арх. Михаила в Чудовом монастыре (моск. Кремль) – "Молитва Михаилу Архистратигу, грозному воеводе". В великорусских заклинаниях Михаил также часто называется "грозным воеводой небесных сил".

С веками, однако, образ архангела несколько изменился: из его характеристики были удалены черты жестокости; в современном тексте посвященного ему канона определения *грозный* нет. В то же время оно сохранилось в акафисте (славословии): "Радуйся, грозный отмстителю кланущимся именем Божиим всеу" (икос 10-й).

Как бы то ни было, но, титулуя арх. Михаила *грозным*, царь Иван вольно (или невольно?) именовал так и самого себя. Широкий спектр синонимов к определению *грозный* – от нейтрального *строгий* до кровавого *жестокый* – позволял авторам на протяжении истории варьировать характеристику государя: от официального титулования до чуть ли не вампиризма. Интересно по этому поводу "обобщенное" мнение академика А.М. Панченко: "Грозный царь имярек" – "просто-напросто титулярная формула, которая означала самодержавного государя"; "речь идет о порядке в государстве, а вовсе не о целесообразности жестокости и безжалостности правления" [11].

Все сказанное позволяет сделать вывод, что свое прозвание Иван IV получил не за бескомпромиссную борьбу с врагами-чужеземцами, а за “безмерные царские строгости” (М.М. Херасков) к своим подданным. Напомним, что уже при жизни Ивана IV за рубежами Руси выходили книги (некоторые прислал ему в 1581 г. Король Ст. Баторий), в которых русский царь именовался (по-латыни) *Тираном* (мучителем, истязателем). Латинское *tyrannus* (тиран, самодержец) восходит к греческому *всевластный повелитель*. В обоих классических языках немало однокоренных “тиранических” слов. Встречаются они и в Библии: “...гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены” (Исайя. 25; 4). Нынешний перевод прозвища на западные языки – *Terrible* (ужасный, страшный) – не вполне эквивалентен русскому. Американский историк М. Перри недавно писал по этому поводу: “общепринятый эпитет Ивана IV *Грозный* (*Groznyi*) традиционно переводится как “ужасный” (*Terrible*), имеющий в русском языке дополнительные значения; в английском языке оно лучше передается такими выражениями, как: “внушающий страх” – *aweinspiring*; “страшный, грозный” – *formidable*; “жестокий, ужасный” – *dread* [12].

После смерти царя-тирана народ “отвергнул или забыл название *Мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в похвалу, нежели в укоризну” (Н.М. Карамзин. История государства Российского).

В “Повести о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне”, написанной столетие спустя после кончины царя, прилагательное *грозный* фигурирует в двух значениях: как традиционный эпитет (“Покорися грозному и сильному государю нашему царю Ивану Васильевичу”) и как прозвище (“Великий и Грозный пред царями царь Иван Васильевич”), хотя семантически различить их порой непросто [13].

Прозвание *Грозный* по отношению к Ивану IV уже в XVII веке становится как бы его вторым именем (фамилией). В рукописной истории “О Российском государстве” (начало 1750-х гг.) ее автор В. Крашенинников использует определение Ивана IV как уже хорошо известное, обобщающее: “Страшен же бе и грозен показася всем”. И хотя речь здесь идет о грозе и страхе по отношению к “окрестным странам”, факт этот свидетельствует о том, что за прошедшие два века прозвище царя уже прочно закрепилось за ним [14]. Сфера его употребления расширяется, его легко усваивает фольклор. Правда, в народных исторических песнях (XVI в.) словосочетание *грозный царь* служит не только характеристикой покойного государя, но является типичным поэтическим эпитетом (ср.: *добрый молодец, красная девица, белый царь...*). То же у М.Ю. Лермонтова в его “Песне про ... купца Калашникова”.

После Ивана IV ни один русский правитель не получил прозвища *Грозный*. Даже Петр I, который сам знал, что современники почитали его “жестоким и мучителем”, “строгим государем и тираном”.

Николай I – «грозный император, обладавший “взглядом Василиска”, от которого наиболее сообразительные сановники падали в обморок, был безжалостен к своим слугам» [15]. Это – лишь эпитет. А вот другой пример. Донской атаман А.П. Богаевский записал в дневнике (1920 г.): “Суровый царь был – Император Николай Первый, <а все же> как беззаветно свято умели любить Родину наши славные деды и отцы, верноподданные Грозного Царя Николая I!” [16]. Это – уже попытка присвоения прозвища с явной “оглядкой” на Ивана IV.

Литература

1. *Абрамов Н.* Словарь русских синонимов. М., 1900.
2. *Лихачев Д.* Великое наследие. М., 1975. С. 165.
3. Словарь-справочник “Слова о полку Игореве” М.–Л., 1965. Вып. 1.
4. Российские государи: 862–1598. Смоленск, 2002. С. 355.
5. *Иванов А.* Третий Рим. М., 1995. С. 82
6. *Пересветов И.* Сочинения. М.–Л., 1956.
7. *Моисеева Г.Н.* Валаамская беседа. М.–Л., 1958. С. 166.
8. *Д. Аль.* Писатель Иван Пересветов и царь Иван Грозный. СПб., 2002.
9. *Добиаиш-Рождественская О.А.* Культ Святого Михаила. Пг., 1917 (машинописное издание). С. 376, 392.
10. *Лихачев Д.С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 372–376.
11. Вопросы истории. 2006. № 6. С. 172–173.
12. *Perrie M.* The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. Chippendham, 2001. P. 5.
13. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1975. М., 1976. С. 27–37.
14. *Моисеева Г.Н.* Спасо-ярославский хронограф и “Слово о полку Игореве”. Л., 1977. С. 39.
15. С.-Петербургские ведомости. 2006. 13 окт.
16. Источник. 1993. № 3. С. 13.



“Пространная русская грамматика” Н.И. Греча

© Т. И. СОКОЛОВА

В конце XVIII – начале XIX века в работах русских лингвистов наблюдается тяготение к идеям всеобщей, универсальной, или философской, грамматики, для которой характерно раскрытие общих законов происхождения, строения и функционирования всех языков мира на основе логических принципов, идея о тесной связи языка с мышлением. С позиции философской грамматики, слова – это выражение одинаковых для всех людей понятий, а предложения соотносятся с одинаковыми для всех суждениями [1].

Работы Н.И. Греча явились ответом на засилие в начале XIX века принципов всеобщей грамматики. Он попытался объединить отдельные идеи универсальной грамматики с практической грамматикой. Наиболее известна “Пространная русская грамматика” (1827), за которую ученый был избран в корреспонденты Императорской Академии наук в Петербурге. Перу Н.И. Греча принадлежат также “Практическая русская грамматика” (1827), “Корректурные листы русской грамматики” (1823), “Начальные правила русской грамматики” (1832), “Краткая русская грамматика” (1832), “Практические уроки русской грамматики” (1832), “Чтение о русском языке” (1840), “Учебная русская грамматика для учащихся” (1851), “Руководство к преподаванию по ней для учащихся” (1851), “Задачи учебной грамматики” (1852), “Русская грамматика первого возраста” (1860) [2].

“Пространная русская грамматика” Н.И. Греча представляет собой учебное пособие, состоящее из “Введения”, “Этимологии общей”, “Эти-

мологии частной”, главы “О взаимных соотношениях частей речи” и так называемых “Прибавлений” к некоторым главам. Во “Введении” рассматриваются некоторые проблемы общего языкознания, сравнительно-исторической лингвистики, истории русского языка. В первом разделе содержатся сведения по отдельным вопросам графики, фонетики, этимологии, а “Этимология частная” – сродни современной морфологии. В последней главе Н.И. Греч высказал предположения о происхождении слов, появлении частей речи, пытался выяснить, какая *часть* или *частица речи* является первичной.

Сама организация грамматики Н.И. Греча напоминает структуру философских грамматик, однако в ней уже чувствуется стремление к анализу фактов русского языка, хотя это еще делается с опорой на всеобщую грамматику. Отголоски принципов последней заметны в учении о частях речи. Распределение слов по частям речи осуществляется ученым на основе структуры суждения. Так, он выделяет только *глагол совокупный*, составленный из глагола *быть* и действительного причастия. Например, глагол *горит* можно представить как *есть горящий* [3. С. 239], таким образом, теперь перед нами уже суждение, состоящее из связки и предиката [4]. С ориентацией на идеи всеобщей грамматики Н.И. Греч определяет назначение предлогов и союзов. При этом ученый использует термины логики *понятие* и *рассуждение*: “Отношения существ выражаются вообще частицами: отношения *понятий* между собой предложениями, а отношения *рассуждений* союзами” [3. С. 103].

При исследовании языка Н.И. Греч привлекает только слова книжного стиля, а разговорный стиль, просторечие и диалектизмы оставлены им почти без внимания.

В “Пространной русской грамматике” большую часть занимает раздел “Этимология частная”, поэтому остановимся подробнее на нем. Этот раздел содержит учение Н.И. Греча о *частях* и *частицах речи* русского языка, то есть так он обозначает знаменательные и служебные части речи. Лингвист выделяет пять частей речи: *имя существительное*, “*имя качественное*”, *глагол*, *предлог*, *союз*. При этом он рассматривает также имя прилагательное, наречие, причастие, деепричастие, местоимение, числительное. Имя существительное в трактовке Н.И. Греча представлено достаточно традиционно.

Любопытна интерпретация местоимений и числительных в разделе “Этимология частная”. Местоимения, как считал Н.И. Греч, составляют промежуточное звено между знаменательными и служебными частями речи. “Местоимение есть *часть* или *частица речи*, замещающая имя предмета или качества, и в то же время означающая отношение сего имени или качества к бытию”; “*Местоимения* можно разделить, как и имена, ими заменяемые, вообще на *существительные* и *прилагательные*. Первые, заменяя имя существительное, полагаются отдельно без отношения к другому слову (я, ты, он, себя, кто). Все прочие озна-

чают обстоятельство, внешнее качество предмета, употребляются как прилагательные обстоятельственные" [3. С. 223, 227–228].

Подобная позиция сохранилась и в современной грамматике: например в "Русской грамматике" 1980 года рассматриваются только местоимения-существительные, "Грамматика русского языка" 1952 года разделяет местоимения на *местоименные существительные* и *местоименные прилагательные* [5].

Числительные у Н.И. Греча также не являются особой частью речи, а распределяются между существительными и прилагательными, исходя из специфики их грамматических свойств. Так, в грамматике фигурируют термины *имя числительное существительное* и *имя числительное прилагательное* [3. С. 212].

Н.И. Греч привел особую интерпретацию междометий. По его мнению, они не составляют ни *части*, ни *частицы речи*, их положение промежуточное [3. С. 378]. Попытка противопоставить междометия другим словам оценивается положительно в работах по грамматике, касающихся творчества Н.И. Греча.

При трактовке понятий предлога и союза Н.И. Греч опирался на логические принципы, рассматривал их, применяя термины логики *понятие* и *рассуждение* (см. об этом ранее). Термин *предлог* наряду с этой особенностью описания имеет еще одну: он полисемантичен. Предлог, по Н.И. Гречу, это и *частица речи* (служебная часть речи), и морфема, то есть ученый употреблял этот термин в значении "приставка".

В "Пространной русской грамматике" Н.И. Греча особое внимание уделяется лексико-грамматическим разрядам, а также грамматическим свойствам, характеризующим ту или иную часть речи (или морфологическим категориям в современном понимании). Свообразна трактовка разрядов имен существительных, в которой Н.И. Греч объединил логические и грамматические характеристики. Итак, он выделил *предметы чувственные*, которые в свою очередь подразделяются на *одушевленные* и *неодушевленные* (ср. с конкретными именами в современной грамматике), *умственные* и *отвлеченные*. Непосредственно лексико-грамматическими разрядами являются *собственные*, *нарицательные*, *вещественные* и *собираательные существительные* [3. С. 105–106].

В "Этимологии частной" Н.И. Греч рассмотрел и разряды имен прилагательных: *качественные*, или *неотносительные*, *относительные*, или *притяжательные*, и *обстоятельственные* [3. С. 179]. На первый взгляд позиция Н.И. Греча в данном вопросе кажется несколько запутанной: термины *относительные* и *притяжательные прилагательные* употребляются им как синонимы, появляется еще один разряд *обстоятельственные*, которые не имеют особых грамматических свойств. Однако в этом есть положительные моменты: Н.И. Греч попытался выделить притяжательные прилагательные из относительных. Ученый использовал особые термины *личные* и *родовые прилагательные*, при

этом *личные* близки притяжательным прилагательным в современном понимании, а *родовые* относительным.

Н.И. Греч уделил внимание наречиям *качественным* и *обстоятельным*. В основе такого деления лежит грамматический признак: подразряды *обстояственных наречий* – *наречия времени, числа, количества* – выделены с опорой на семантический критерий. Подобная точка зрения, но несколько видоизмененная, сохранилась и в современной грамматике.

Ученый выделил восемь разрядов местоимений: личные, возвратные, относительные, вопросительные, указательные, притяжательные и определительные. Эти же разряды перешли в современную грамматику, а школьная грамматика добавила к ним только разряд отрицательных местоимений.

Лексико-грамматические разряды числительных у Н.И. Греча соответствуют позициям современной морфологии. Помимо этого в “Пространной русской грамматике” зафиксирован факт отсутствия рода у числительных. Такое наблюдение впервые было сделано Н.И. Гречем.

Ученый довольно подробно рассматривал морфологические признаки частей речи. Наибольший интерес представляют категории степеней сравнения прилагательных и вида глагола.

Учение Н.И. Греча о степенях сравнения имен прилагательных получило негативную оценку критиков. Языковед выделил как степени сравнения (здесь Н.И. Греч традиционен), так и *неотносительные степени качеств*, куда входят *обыкновенная, уменьшительная и увеличительная* степени [3. С. 181]. По мнению академика В.В. Виноградова, степени сравнения смешиваются у Н.И. Греча с категориями субъективной оценки [6. С. 194–195]. А с точки зрения теории функциональной грамматики эта идея имеет право на существование.

Интерес критики в работах Н.И. Греча всегда вызывала теория глагольного вида. Н.И. Греч смешал понятия вида и времени [6. С. 381; 7. С. 87], или точнее, вида и способов глагольного действия. Ср. у Н.И. Греча *однократный, многократный, определенный и неопределенный виды*. Несмотря на некоторое несовпадение взглядов Н.И. Греча в данном вопросе с позициями современной грамматики понятие вида и сам термин *вид* едва ли не под влиянием идей Н.И. Греча закрепились в русской грамматике, а термин *аспект*, например, во французской грамматике.

Таковы основные положения, изложенные в “Этимологии частной” данной Грамматики Н.И. Греча. Судьба грамматических взглядов Н.И. Греча довольно своеобразна. Они пользовались широким общественным признанием в 20–30-е и даже 40-е годы XIX века, а после выхода в свет работ Г. Павского, М. Каткова, Ф. Буслаева значение грамматических наблюдений и систематизаций Н.И. Греча несколько снизилось, в 50-е годы они подверглись пересмотру, резкой критике и даже

иронии. Однако анализ идей лингвиста показывает, что его грамматика представляет интерес и сегодня.

Литература

1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
2. Смирнов С.В. Отечественные филологи-слависты середины 18 – начала 19 века. М., 2001.
3. Греч Н.И. Пространная русская грамматика. СПб., 1827.
4. Фрайдохф Г.К. К вопросу о значении логики и грамматики в русских всеобщих грамматиках начала XIX века // Вопросы языкознания. 1990. № 3.
5. Русская грамматика: В 2 т. Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980. Т. 1; Грамматика русского языка. Под ред. В.В. Виноградова, Е.С. Истриной, С.Г. Бархударова. М., 1952.
6. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 1972.
7. Березин Ф.М. История русского языкознания. М., 1979.

Читая Библию

В чем каялась *Мария Магдалина*?

© К. Н. ДУБРОВИНА,
кандидат филологических наук

В основе европейского, исповедующего христианскую религию культурного пространства лежат общие или сходные библейские образы, сюжеты и обороты речи. Библейская фразеология как неременный языковой компонент культуры тесно взаимодействует с разными видами искусства. Для многочисленных живописных полотен, фресок, гравюр и т.д., созданных на библейские сюжеты как русскими, так и западноевропейскими художниками, нередко в качестве названий используются широко известные и употребительные во многих европейских языках библейские обороты, например, *блудный сын*, *возвращение блудного сына*, *воскрешение Лазаря*, *лепта вдовицы*, *избиение младенцев*, *Валаамова ослица*, *поцелуй Иуды*, *терновый венец*, *нести свой крест* и др.

Нередко художники не столь пунктуально следуют текстам и сюжетам Библии. Причины тут могут быть самые разные: соблюдение определенных живописных канонов (или, напротив, отступление от них), расхождения в самих текстах Библии, трудности в идентификации некоторых библейских персонажей и т.д.

Как порой произведения живописи влияют на образование того или иного фразеологического выражения, можно показать на примере хорошо знакомого всем фразеологического оборота *кающаяся Магдалина*, связанного с образом известной последовательницы Иисуса – Марии Магдалины.

Этот оборот является интернациональным, т.е., помимо русского, встречается во многих других европейских языках, и имеет два значения:

1. Распутная женщина, осознавшая свою греховность и порвавшая с развратной жизнью, например: «Даже роль *кающейся Магдалины* при-

давала Настеньке тысячу новых неуловимых прелестей” (Д. Мамин-Сибиряк. Переводчица на приисках); “Леночка – *кающаяся Магдалина* – опустила подкрашенные реснички, и Петр Сергеевич с удивлением почувствовал, что ему искренне жаль эту девушку, так нескладно начавшую свой жизненный путь” (Ю. Богатырёв. Свадебный марш);

2. *Ирон.* Человек, лицемерно изображающий раскаяние в своих порочных поступках, например: “Это вот такие бабники и тряпки, как Павлищев, свершив немало пакостей в молодости, после “мякнут” и изображают из себя *кающихся Магдалин!*” (К. Станюкович. Откровенные).

Данное выражение обычно возводят к Новому Завету и связывают с именем Марии, родом из Галилейского города Магдалы, которая якобы вела распутный образ жизни, а затем раскаялась в своих грехах и стала ревностной последовательницей Иисуса.

Имя Марии Магдалины встречается несколько раз во всех четырех Евангелиях. Косвенным свидетельством ее прежней порочной жизни могут служить сообщения евангелистов Луки и Марка о том, что Иисус изгнал из нее семь бесов, после чего она, излечившись “от злых духов и болезней”, последовала за Ним. Но ни в одном из Евангелий нет неопровержимых доказательств распутной жизни Магдалины. Напротив, в Библии она предстает как одна из женщин, следовавших за Иисусом в Его мессианской деятельности. Она присутствовала при распятии Иисуса, была свидетельницей положения Его во гроб и одной из тех жен-мироносиц, которым явился воскресший Иисус, поручив ей возвестить о Его воскресении ученикам Его. Этот сюжет отразили в своих произведениях под названием “Явление Христа Марии Магдалине” многие художники (Тициан, Анжелико, А.А. Иванов и др.).

На образ Марии Магдалины, по-видимому, оказали влияние связанные с ней предания и легенды, в которых она предстает как равноапостольная проповедница христианства. Согласно одному из таких преданий, она проповедовала Евангелие в Галлии (во многих местах Франции ее почитают до сих пор), а в Риме она встретила с императором Тиберием, которому поднесла красное пасхальное яйцо как символ страданий и воскресения Иисуса Христа со словами: “Христос воскрес!”

Однако существует и другая легенда, согласно которой Мария Магдалина ушла в пустыню, чтобы предаться там покаянию. Возможно, в этом случае ее образ соединился в сознании христиан с другой Марией, прозванной Египетской, – раскаявшейся блудницей, давшей обет безгрешной жизни и навсегда удалившейся в пустыню.

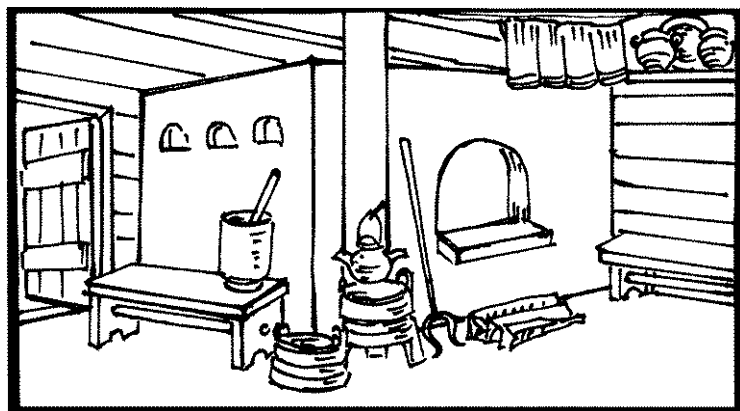
В западноевропейской традиции, возможно, под влиянием произведений живописи (например, Фридрих Герлин “Мария Магдалина поминает ноги Иисуса Христа”, Якопо Тинторетто “Магдалина в доме Симона” и др.) Марию Магдалину нередко отождествляют с грешницей, которая в доме фарисея Симона возлила миро на голову Иисуса, омыла

ноги Его своими слезами и отерла их своими волосами, о чем рассказано в Евангелии от Луки. Наконец, существует целый ряд полотен мастеров изобразительного искусства (Эль Греко, Тициана, Антонио Корреджо, Гвидо Рени, Марко Антонио Франческини, Франческо Гверчино и др.) под названием “Кающаяся Магдалина”, которое полностью совпадает с известным фразеологическим оборотом.

Таким образом, под влиянием многих произведений живописи западноевропейских авторов, а также, возможно, и под влиянием некоторых легенд о Марии Египетской сложился определенный стереотип в отношении к Марии Магдалине как к грешнице, которой, видимо, есть в чем каяться.

Вот почему по имени Марии Магдалины *кающимися магдалинами* стали называть женщин, после развратной жизни вернувшихся к труду. Это значение данного оборота восходит к уставам убежищ для *кающихся магдалин*, возникших в средние века при женских духовных католических организациях (конгрегациях). Эти убежища имели свои уставы, были связаны с какими-либо монашескими орденами и состояли из священнослужителей и мирян. Самые ранние из них были организованы в 1250 году в Вормсе (Германия) и Меце (Лотарингия). В России магдалинские убежища появились в 1833 году. Упоминания об этих обителях встречаются и в художественной литературе: «...А что же в таком случае лучше несчастной любви, особенно если обладаешь способностью не слишком горячо принимать свои неудачи к сердцу? И вот такая девица воображает сама и рассказывает другим, что она “обманута” и, если еще не получила права поступить в обитель “Кающейся Магдалины”, то во всяком случае достойна попасть в приют “Плачущих дев”» (С. Кьеркегор. *Дневник обольстителя*); “У Aline удивительный *приют Магдалин*. Я была раз” (Л. Толстой. *Воскресение*).

Вряд ли можно однозначно сказать, как именно образовался данный библейский фразеологизм в русском языке, однако тесное взаимодействие и взаимовлияние библейских сюжетов, легенд и преданий, а также произведений изобразительного искусства, связанных с этим библейским персонажем, в общеевропейском культурном пространстве несомненны.

История русского быта

Изба и ее “углы”

© Ю. Г. КОКОРИНА,
кандидат исторических наук

В разных языках люди называли свое жилище по-разному. Когда мы произносим слово *жилище*, то прежде всего у нас оно ассоциируется со словом *дом*. Именно так оно звучит в большинстве славянских языков. Слово *дом* произошло от индоевропейского *dema* – строить [1. Т. 1]. Словари определяют его как жилое (или для учреждения) здание, а также семью, живущую в нем [2], строение, предназначенное для жилья, для учреждений и т.п. [3. Т. 3].

Деревянный крестьянский дом в русском языке называется *избой*. В украинском и белорусском языках это слово отсутствует – в них используется слово *хата*, имеющее иранские корни. В болгарском языке *изба* имеет значение “подвал”, “погреб”, “склад”, в сербохорватском – “комната в бревенчатом доме, светелка” (устаревшее значение), в польском *izba* – “комната”, “зал заседаний”, “палата”. В Древней Руси слово *изба* означало “жилище”, “терем”, “палата”. “И приде Мстислав Киеву, и седша в ызбе, и реша мужи”, – гласит “Повесть временных лет”. Лингвисты высказывают мнение, что в русском языке сначала было два слова – *истьба* и *истопька*, которые потом слились в одно. По мнению исследователей, слово *изба* имеет германское происхождение: древненемецкое *stuba* – “теплое помещение”, “баня”, современное

немецкое слово *Stube* – “комната”. Из немецких языков это слово попало в романские, даже в венгерский – *szoba* – “комната”, а затем в славянские языки [4. Т. I].

В результате слово *изба* прочно вошло в русский язык, оно ассоциируется у нас с деревней, селом, слободой, чем-то родным, исконным. Избы имели свое устройство и отличались друг от друга в зависимости от региона, достатка хозяина, хронологического периода.

Русская изба строилась, или, как говорили, рубилась, из дерева. Изба должна была быть наполнена жизненными благами, теплом, покоем. Поэтому, сооружая такое жилье, люди тщательно следовали заветам предков. “Старые русские постройки отличались своеобразной красотой по неожиданности и асимметрии своих очертаний, хотя русские люди не заботились об этой красоте... Ставили избу где и как было удобно: если становилось тесно – приставляли новый сруб, тоже где находили удобным; если потребности увеличивались, то еще приставляли сруб там, где было нужно” [5. С. 194].

Строительство сопровождалось множеством обрядов. Начало его отмечалось жертвоприношением курицы, барана. Этот обряд проводился во время укладки первого венца избы. Под бревна первого венца, подушку окна, матицу укладывали деньги, шерсть, зерно – символы богатства и семейного тепла, ладан – символ святости дома. Окончание строительства отмечали богатым угощением плотников и всех участвовавших в работе [6. С. 9].

Итак, входим в избу. Двери были одностворчатыми из двух-трех широких пластин дерева, преимущественно дуба. Однокоренные слова со значением “дверь” присутствуют в разных индоевропейских языках [7. Т. I]. Английское слово *door*, как немецкое *Tur* и русское *дверь* происходят от индоевропейского корня **dhuer* с этим же значением [8. Т. 3], а французское *porte* – от латинского *porte* – “порог” [9. С. 587].

Дверь старинным способом крепилась с помощью железных или деревянных шпенок – *пяток*, устанавливавшихся в гнезда – *подпятники*. В. Даль приводит значение слова *подпятник* как “место под пяткою” [10. Т. III], в данном случае – пяткою двери. Слово *пятка* имеет корень **pe-*, что и в слове *пинать* [4. Т. II]. Подвешивались двери на железных петлях.

Открывая дверь, гость переступал *порог*. М. Фасмер сравнивает это слово с литовским *pergas* “рыбачий челн”, древнеисландским *forkr* “дубина”, древнесакским *fercal* “здвижка, засов”, латышским *pergula* “пристройка при доме, выступ в стене” [7. Т. III]. Это слово имеет индоевропейский корень **preg* (*prog*), означавший “срубленный ствол”, “полоса” [4. Т. II]. Элементом конструкции двери была *притолока* – происхождение слова связано со словом *потолок* [7. Т. III] – верхняя горизонтальная перемычка оконной или дверной коробки, а также боковой стоящий брус. Так называлась щель между коробкой и стеной, покрываемая наличником [11. С. 150].

Далее были сени, которые использовались в основном как хозяйственное помещение, но имели и другое назначение. Так, В.И. Даль писал, что сени “холодная часть жилого дома, у входа, прихожая <...> встарь связывали разные части барских хором и примыкали к терему <...> дом вообще” [10. Т. IV]. Во многих славянских языках *сени* означало “навес”, “беседка”, “зал”, “передняя” и т.д. Современное значение “сени” – “помещение между жилой частью дома и крыльцом в деревенской избе и старинных барских домах установилось только к XVIII веку” [12. Т. IV].

Горница – “Устар. Комната (первоначально в верхнем этаже) <...> 2. обл. Чистая половина избы” [12. Т. I]. Как писал русский историк И.Е. Забелин, “белая... изба строилась на подклете, почему... называлась горницею, как верхний покой по отношению к подклету. Сверх того горница отличалась от избы печью, которая была здесь изразцовая муравленая...” [5. С. 200]. В русской избе еще могла быть *светлица*, комната с печью, имеющая много красных окон, а не волоковых (о чем позже пойдет речь) [5. С. 201].

Основное пространство избы занимала *русская печь*. Дым мог выходить из *устья* печи, в которое закладывалось топливо, или через специально разработанный дымоход. Устье имело прямоугольную форму или полукруглую верхнюю часть, закрывалось заслонкой, вырезанной в форме устья железным щитом с ручкой. Перед устьем находилась небольшая площадка – *шесток*, на который ставилась хозяйская утварь, чтобы ухватом задвинуть ее в печь [6. С. 49]. Если печь имела дымоход – то такую печь, как и всю избу, называли *белой*. Именно о такой избе вел речь И.Е. Забелин. Если дымохода не было – печь и изба считались *черными*.

Грубой или *голландкой* назывались печи, отличающиеся по конструкции от русской печи. Слово происходит от сочетания “голландская печь”, то есть печь, украшенная изразцами [10. Т. I].

Часть избы от устья печи до противоположной стены называлась *печным углом*. Здесь напротив печи стояли ручные жернова, поэтому угол назывался еще *жерновным*. В печном углу находилась *судная лавка* или *прилавок* с полками внутри, использовавшийся в качестве кухонного стола. На стенах располагались *наблюдники* – полки для столовой посуды. Выше был печной брус, на который также ставилась посуда. Печной угол считался грязным местом в отличие от чистого пространства избы. Его всегда стремились отгородить. Закрытый деревянной переборкой печной угол образовывал маленькую комнатку, называвшуюся *чуланом* или *прилубом* [6. С. 46].

Слово *чулан* в русском языке известно с XVI века. По распространенному мнению, оно имеет тюркское происхождение: «Вероятно, в знач. “перегородка” заимств. из тюрк.; ср. алт., тел., леб. *čulan* “загон для скотины” (Радлов 3, 2175), тат. *čölân* “чулан, кладовая”» [7. Т. IV].

Однако, согласно другой точке зрения, в его основе индоевропейский корень *(s)keu- “покрывать, окутывать”. С этим корнем связано скандинавское *skjol* – “навес, укрытие, сарай”, древнеирландское слово *cul* – “угол, место, укрытие” [4. Т. III].

Пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что располагался по диагонали от печи, называлось *красным углом*. Основным украшением красного угла является божница с иконами, поэтому его еще называют *святым*. В большинстве регионов России под божницей в красном углу находился стол. Красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Все значимые события семьи происходили в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, а также многие календарные обряды. Это парадная часть избы. Ее старались держать в чистоте и нарядно украшать [6.].

Во время еды хозяин дома сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй – по левую, третий – рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретах [6. С. 9].

В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивался деревянный настил – *полати*. Слово *полати* имело и другое значение – “хоры в церкви”. Именно так оно упоминается в “Повести временных лет”: “взбегшим на полати” [1. Т. 2]. Своим происхождением слово связано со старославянским *полата* – дворец, покой, шатер и восходит, по мнению М. Фасмера, к латинскому *palatium* [7. Т. III].

В избе, состоящей из одного жилого помещения и сеней, прорубалось четыре окна: три на фасаде и одно на боковой стороне. Их высота равнялась диаметру четырех-пяти венцов сруба. В оконный проем вставлялась *обвязка* – деревянная коробка, в которую крепилась тонкая рама – оконница. Переплет состоял из шести частей, реже из пяти. Окна в избах не открывались. Иногда окно делалось с частично подвижной рамой. Одна из ячеек могла подниматься вверх или отодвигаться в сторону [6. С. 38].

Окно – от слова *око*, имеющего индоевропейские корни [7. Т. III]. Большие окна называются *косящатыми*, так как были обрамлены отесанными брусками – косяками, в которые вставлялась оконница. Еще одно название этого окна – *окно красное*, то есть красивое, солнечное. В русском фольклоре оно было символом благополучия, радостной, светлой жизни [6. С. 42].

Действительно, в избах, особенно в подклетах, были маленькие окна, высотой в диаметр сруба, которые задвигались изнутри дощечкой – так называемые *волоковые окна*. Слово *волочь* известно в письменных памятниках древней Руси XI–XII вв., восходит к индоевропейскому корню *uel-k- с тем же значением [4. Т. I].

Отличалось *образчатое окно*, оконница которого состояла из мелких четырехугольных ячеек, заполненных слюдой или стеклом [6. С. 43]. Можно предположить разное происхождение этого названия: как от *образ* со значением “вид, облик, изображение”, так и от *образец* – круглая или продолговатая бляха, служившая для украшения одежды и других предметов [4. Т. I]. Последнее, видимо, маловероятно, так как оконница с круглыми ячейками вставлялась в *репьястое окно* [6. С. 43]. М. Фасмер указывал, что это слово сравнивают с древнеисландским *rafr* – “крыша на стропилах”, древнемецким *ravo* – “стропило”, латинским *replum* – “филенка”. В целом название, видимо, связано с латинским *replere* – “заполнять” [7. Т. III].

Верхней границей внутреннего пространства дома был потолок. Его основу составлял толстый четырехгранный брус – матица, положенный поперек сруба. *Матица* – от слова *мать* [1. Т. I] – продольное бревно, врубленное поперек здания в верхний венец сруба и поддерживающее пережат из досок или более тонких бревен [11. С. 111]. К ней прибавалось кольцо, к которому подвешивалась колыбель. В свадебном обряде для благополучного сватовства сваты никогда не проходили в дом за матицу без специального на то приглашения хозяев. Выражение “сидеть под матицей” означало “быть свахой” [6. С. 38].

Далее размещался *накат* – бревенчатый или брусчатый настил на матицах [13. С. 39], *слеги* – продолговатые бревна, несущая часть крыши [11. С. 169]. Были и *самцы* – фронтоны, треугольное продолжение торцевых стенок сруба [11. С. 161].

Поверх матицы укладывались потолочины, иногда они вставлялись в пазы матицы. Потолочинами служили круглые мелкие бревна, очищенные от коры, которые укладывались параллельно половицам. На потолок со стороны чердака набрасывали опилки, кострику, льняную кудель, осенние опавшие листья, дававшие дому дополнительное тепло [6. С. 60].

Далее вверх следовал *чердак*. Хотя наличие чердака не обязательно, так как иногда изба могла не иметь потолка. В документах XVII века *чердаком* могло называться и отдельное помещение, со своими стенами, но не отапливаемое. Предназначалось оно для временного пребывания. Слово имеет тюркское происхождение: татарское *cardak* – “балкон”, караймское *cardak* – “верхняя комната”, в свою очередь, восходит к персидскому языку [7. Т. IV]. Имелось еще одно название чердака – *подволока*. Так назывался нижний слой деревянного межэтажного или чердачного перекрытия, выполнявшегося обычно из теса.

Выше шла крыша. Слова *крыша*, *кровля* – от *крою* с вокализмом *ша* [1. Т. I]. На крыше ставили *конек* (от *конь*, так как на коньке помещались для украшения лошадиные головы [7. Т. II]). Верхнее ребро двускатной крыши, а также трехгранное продольное бревно, покрывается *охлупнем* [11. С. 95]. М. Фасмер возводит это слово к сочетанию *о-*

и *хлунь* – “хвост, гузка (у птиц)” [7. Т. III]. Бревно с треугольным желобом, укладываемое по коньку тесаной кровли, концы охлупня оформлялись в виде фигур коня, птицы и т.п [11. С. 129].

Клеть – слово заимствовано из языков прибалтийских народов, в которых значило “кладовая”, “крытая рига с овином” [7. Т. II] – простейшая постройка из уложенных друг на друга венцов бревен, а также неотапливаемая часть избы или отдельная постройка для хранения имущества [11. С. 90]. На клеть как на складное место указывает “Домострой” и, наравне с подклетью и амбаром, советует хранить там платья, узду, оружие, мыло, воду, гвозди, топоры, сита, фляги [5. С. 203].

Снизу пространство избы ограничивал пол. Слово *пол* имеет индоевропейские корни, в частности, родственно древнеиндийскому слову *phalakam* “доска, планка” и древнеисландскому *fjol* “половица, доска, планка” [7. Т. III]. Пол, отделявший жилое помещение от нежилого, воспринимался мифологическим сознанием как граница между миром людей и миром мертвых – домовых, нечистой силы, умерших. Половицы связывались с идеей пути. Если постелить постель вдоль половиц – человек уйдет из дома или умрет. Покойника, наоборот, выносили только вдоль половиц. Во время обряда “смотрения невесты” жених и невеста обменивались кольцами, стоя на одной половице, причем невеста – ближе к двери. Это символизировало согласие невесты на уход из родного дома. *Полом* также назывался широкий помост для спанья, располагавшийся на высоте полуметра от земляного пола между печью и фасадной стеной. На *полу* обычно спали хозяин с хозяйкой [6. С. 56].

Нижнюю часть избы составляла, как правило, *подклеть* – то есть часть, расположенная “под клетью”. Она служила для хозяйственных нужд, в холодное время года в ней содержали животных.

У входа в избу располагалось *крыльцо*, особенно это характерно для северных изб, где проблема сохранности тепла стояла особенно остро. *Крыльцо* – от праславянского **kridlo* – “крыло” [7. Т. II]. Наружный вход в дом, лестница с пристроем, навесом; каменная или деревянная площадка перед домом, со ступенями [10. Т. III].

Мы “обошли”, разумеется, не всю избу, остановившись лишь на основных ее частях. Необходимость изучения традиционного и древнего жилья отмечал российский археолог А.И. Городцов: “Жилища играют столь выдающуюся роль в характеристике жизни племен и народов, что без сведений о них невозможно получить сколько-нибудь удовлетворительной картины быта” [14. С. 161]. Тем важнее иметь такое представление для нас, современных людей.

Литература

1. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1959.

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984.
3. Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1948–1965.
4. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. М., 1993.
5. Богоявленский С.К. Дворовые деревянные постройки XVII в. // Богоявленский С.К. Научное наследие. О Москве XVII в. М., 1980.
6. Русская изба. СПб., 1999.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 2004.
8. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin, 1989.
9. Dauzat A. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. Librairie Larousse. Paris, 1971.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978.
11. Партина А.С. Архитектурная терминология. М., 1994.
12. Словарь русского языка. В 4 т. М., 1981–1984.
13. Жилища Древнего Новгорода. Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. 4 // Материалы и исследования по археологии СССР. 1963. № 123.
14. Городцов А.И. Жилища неолитической эпохи в долине р. Оки в связи с открытиями в окрестностях с. Дубровичи Рязанской губернии // Труды VIII Археологического съезда. М., 1997. Т. 3.



История русского быта

“Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!”

© Д. Б. ЧУГАЕВ

Широкое распространение в свадебном ритуале имел обычай разламывания хлеба в знак утверждения того или иного решения. Отец невесты, дав согласие на брак дочери, отрезал часть хлеба, после чего невеста начинала считаться “отрезанным ломтём” [1. С. 141; 2. С. 13]. В Среднем Поволжье часть калача, отломленная представителями жениха, заворачивалась в полотенце невесты и отправлялась к жениху. Оставшуюся в доме невесты часть караваев делили между ее родственниками. Данное действие называлось *ломать калач* [1. С. 142].

Приготовление большого обрядового хлеба незадолго до свадьбы и его раздача относятся к числу значимых действий в украинской, белорусской и южнорусской свадьбе. В севернорусской свадьбе обрядовый хлеб представляется явлением второстепенным и просто служит угощением.

Ритуальное хлебное изделие под названием *каравай* впервые упоминается в церковных поучениях XII–XIII веков в числе приношений языческим богам и как ритуальный хлеб в культе предков, предназначавшийся для угощения душ в великий четверг [3]. “Словарь древнерусско-

го языка" [4. Т. 4] отмечает употребление в XIV веке слова *короваюмольць* "тот, кто совершает один из языческих обрядов, почитание каравая". Словари фиксируют интересные однокоренные наименования хлебных изделий: *каравай* "печеный круглый хлеб из ржаной муки" [5], *каравайцы* "пшеничные блины" (ряз.), *каравашка* "белый хлеб" (твер.) [6].

В свадебном ритуале термин *каравай* упоминается в записи 1526 года [7]. "Словарь русского языка XI–XVII вв." [8] отмечает употребление в XVI веке наименования *свадебный коровай* "обрядовый каравай (для свадьбы который месят и пекут с песнями и обрядовыми действиями)": "*Свадебный... короваи* обшит бархатом, или камкою... на носилках... покрыты *короваи* наволочкою, или кушак золотной". Со свадебным обрядом также связана лексема *коровай* "особого вида булочка с разными украшениями, подаваемая на свадебном пиру" (курск.) [6].

Х. Ящуржинский производит слово *каравай* от глаголов *краять*, *кроит* [9]. Другие исследователи связывают его происхождение с существительным *корова*, считая, что свадебный каравай имеет непосредственное отношение к древнему обычаю жертвования коровы [10. С. 122; 11]. В пользу последнего объяснения говорит то, что многие обрядовые булочные изделия имели форму коровы, ее головы или вымени. В московских говорах отмечена лексема *коровка* "хлебец или лепешка, приготовленная для раздачи колядовщикам вечером 24 декабря" [6].

Косвенным признаком связи свадебного хлеба с кормилицей крестьянской семьи является и то, что каравай символизировал счастливую жизнь, достаток и изобилие в доме. Каравай старались сделать как можно больших размеров. При этом часть продуктов, принесенных для приготовления хлеба, оставалась неиспользованной, то есть избыточность как бы заранее характеризует этот ритуальный символ.

По нашим сведениям, полученным в 2006 году в ходе экспедиционной поездки в село Супрунов Винницкой области Украины, продукты для приготовления каравая (муку, соль, яйца, масло) приносили с собой молодые замужние женщины. Такое объединение продуктов наблюдается и на других этапах свадебного обряда, оно было призвано скрепить молодую семью, символизировало, что весь род благословляет жениха и невесту на брак.

Обрядовая лексика многозначна, и кроме номинации свадебного яства, термин *каравай* выступает как название свадьбы или разных обрядовых празднеств на свадьбе. В тамбовских и ростовских говорах слово *каравай* зафиксировано в значении "девичник", что связано с изготовлением на девичнике обрядового хлеба [2. С. 70; 12]. Обрядовое действие "приглашать на девичник" обозначалось наименованием *позывать на каравай* (тамб.) [2. С. 73].

В качестве названий других обрядовых изделий из теста в русских говорах используются однокоренные наименования: *каравайцы* "сва-

дебные пироги, формой напоминающие высокие караваи” (поволж.) [1. С. 143]; *каравай*, *каравайчики* “небольшие булочки, которые развозят свахи приглашенным на свадьбу” (дон.) [13]; *каравайничек* “сдобная свадебная булочка” (рост.) [12. С. 209]; *малийе короваиі*, *коровайчікі* “небольшое печенье различной формы, предназначенное для одаривания гостей” [14. С. 31]. Кроме того отмечаются наименования *каравайное* “деньги, подаренные невесте на каравай” (дон.) [15. Вып. 13.; 12. С. 209]; *каравайные песни* “песни, которые исполнялись во время печения обрядового каравая” (смол.) [15. Вып. 13]; *каравайный обед* “обед у жениха для родственников невесты” (тул.) [Там же].

По нашим данным, действия по изготовлению каравая на Украине называются *лепіть коровай*, *місить коровай*, *робити коровай*, *бгати коровай*, *гібать коровай*. До или после выпечки каравай поются песни, это действие выражено словосочетанием *опевать коровай*. По замечанию Н.Ф. Сумцова, каравай всегда выпекается “с большими церемониями и большой веселостью” [16].

Интересны наименования участников обряда, имеющих отношение к свадебному хлебу. “Словарь русского языка XI–XVII вв.” отмечает употребление слова *коровайник* в XVI веке – “тот, кто несет обрядовый каравай”: “И наперед новобрачного придут свечник да *коровайник* и два *коровайника* женихов и невестин носила с короваи возмут” [9. Вып. 7]. Женица, изготавливающая каравай, называют *каравайниця*, *коровайниця* (орл., ярсл., новг., нижегор.) [15. Вып. 13; 17; 18. Т. III], *каравайщица* (рост.) [12], *коровайніца* [14. С. 28].

В севернорусской свадьбе каравай мог заменяться пирогом. *Пирог* в семантико-функциональном плане незначительно отличается от лексемы *каравай*; разграничение обеих единиц основано, вероятно, на ареальном признаке. В близких значениях фиксируются наименования *молодухин пирог* “пирог, который жених привозит невесте после знакомства” (новосиб.) [15. Вып. 27]; “пирог, который невеста привозит в дом жениха с приданым” (кемер.) [19]; *запазушный пирог* “пирог, которым угощают невесту, жениха, свах после наскоро проведенного сватовства” (арх.) [15. Вып. 10]; *пирог* “хлеб, который берут, идя сватать” (белорус.) [20].

Пирог имеет прямое отношение к свадебному обряду, поскольку является дериватом от греческого *pir* “свадьба”, образованным с помощью суффикса *-ogъ* [21. Т. III], но рамки функционирования данной лексемы значительно шире, они включают весь обрядовый цикл – календарную, родильную, похоронную обрядность.

Наименование *курник* “свадебный хлеб” отмечено в нижегородских, псковских, вятских, смоленских, тамбовских, поволжских говорах [15. Вып. 16; 17; 2. С. 13; 1. С. 143]. Данная лексема записана нами в Московской области: “...У нас одну просватали в село и приехали на вечеринки... Мать с отцом *курник* привезли – пирог. Это такой закон был,

привозить девкам, нам, подружкам”. Привезенный хлеб сразу не отдавали, а требовали сначала налить бутылку попоной: “Теперь мне ставят бутылку и на бутылку денег кладут и *курник* дают” (Там же).

В южной части Поволжья во время всей свадьбы пекли круглые пресные пироги – *курники*. Родственники жениха после пирушки, закрепляющей сватовство, до последнего дня девичника носили их в дом невесты, а накануне венчания невеста с подругами ели *курник* во время ритуальной бани [1. С. 144]. В русских говорах Мордовии зафиксирована лексема *курничать* “совершать свадебный обряд”: “Жанилси, а *курничить* ни стал, и фсё: уш долга жили-та” [22].

Этимологию слова *курник* М. Фасмер связывает с существительным *курица*, следовательно, первое значение лексемы – “пирог с курицей”. В русских говорах вне связи с обрядами зафиксированы наименования *курник* “круглый пирог с курятиной” (кемер.) [19], *курник* “пирог с мясом” (твер.) [23].

В Нижегородской области в значении “свадебный пирог для угощения жениха и невесты” распространено наименование *курень* [17]. В Тамбовской области жених приносил невесте от будущей свекрови в подарок пирог, который, кроме *курник*, мог называться *кашник* и *ряж-ник* [2. С. 13].

В Курской области для обозначения свадебного хлеба использовались дериваты с морфемой *-ряж-*, производные от терминосочетания *ряженный пирог*: *ряженный*, *ряжник*, *ряжена*, *ряжен*, *ряженец*, *ряжанец* [24. С. 166]. В.И. Далем в курских и воронежских говорах отмечена лексема *ряженец* с более широким значением – “большой пирог”.

Однокорневые модификации основного сочетания *ряженный пирог* – результат трансформации двухкомпонентной единицы в однокомпонентную с утратой менее информативной лексемы. Семантика данных номинаций однозначна – “красочно наряженный, украшенный различными фигурками и угощениями пирог, который готовили к торжеству”.

В архангельских говорах приготовляемый к свадьбе хлеб назывался *байник*, *баенник* [25. С. 3; 15. Вып. 2]. На Русском Севере молодых после бани одаривали специальным хлебом *банником* [27. Т. 1]. Эти наименования связаны с обычаем готовить свадебный пирог на воде, в которой мылась невеста в ходе обрядового посещения бани. Этой воде, как и поту невесты, придавалось особое значение. В них словно и сконцентрировано “девичество”. В Новгородской губернии в середине XIX века был зафиксирован обычай поить будущих мужей “баенной” водой, который осуждался документом еще в 1156 году [27].

Однако прямая связь прилагательного *баенник* с существительным *баня* во многих говорах потеряна. В Архангельской области лексема *баенник* может обозначать “свадебный хлеб, который дают отдельно жениху и отдельно невесте их крестные матери в благословение”, “ка-

равай с солонкой наверху и двумя рыбными пирогами по сторонам, подаваемый на стол при объявлении жениху о согласии на выдачу замуж невесты"; "свадебный хлеб, которым мать невесты благословляет отъезжающих к венцу молодых" и др. [15. Вып. 2.].

Таким образом, у всех славян свадебный хлеб назывался *караваем*, другие наименования являются местной заменой основного названия или имеют более позднее происхождение. Богатая народная терминология отражает способ приготовления, украшения обрядового изделия, а также предназначение свадебного хлеба, который являлся символом плодородия и благополучия дома.

Литература

1. Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. М., 2004.
2. Етихиева Л.Ю. Тамбовский курагод: Сборник сценариев и материалов для фольклорных коллективов. Тамбов, 2003.
3. Воронин Н.Н. Пища и утварь // История культуры Древней Руси: домонгольский период. М.–Л., 1948. Т. 1. С. 263–265.
4. Словарь древнерусского языка: XI–XIV вв. М., 1988–.
5. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской АН. СПб., 1847. Т. 2.
6. Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской АН. СПб., 1852.
7. Языков Д.И. Изыскание о старинных свадебных обрядах у русских // Библиотека для чтения. СПб., 1894. Т. 6. Кн.10. С. 4.
8. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–.
9. Яцуржинский Х. Лирические малорусские песни, по преимуществу свадебные, сравнительно с великорусскими // Русский филологический вестник. 1880. № 3. С. 85.
10. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885. С. 53.
11. Етимологічний словник української мови. Київ. 1989. Т. 3.
12. Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.
13. Миртов А.В. Донской словарь: Материалы к изучению лексики донских казаков // Тр. Северокавказской ассоц. научно-исслед. ин-тов. № 58. Ростов-на-Дону, 1929. Вып. 6. С. 130.
14. Романюк П.Ф. Лексика некалендарных обрядов правобережного Полесья (на материале свадебного обряда): Дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1984.
15. Словарь русских народных говоров. М.–Л.; СПб., 1965–.
16. Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881. С. 135.
17. Никифорова О.В. Диалектная свадебная лексика в Нижегородской области: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.

18. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978–1980.
19. Словарь русских говоров Кузбасса. Новосибирск, 1976.
20. Вяселле. Абрад. Мінск, 1978. С. 99.
21. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973.
22. Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Саранск, 1978–1986.
23. Опыт словаря говоров Калининской области. Калинин, 1972.
24. *Ларина Л.И.* Терминология свадебного обряда Курского региона в этнолингвистическом аспекте: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
25. *Подвысоцкий А.О.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
26. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. М., 1995.
27. *Жекулина В.И.* Исторические изменения в свадебном обряде и поэзии (по материалам Новгородской области) // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 240.



Из истории русских фамилий

© Л. Н. ВЕРХОВЫХ

Имя, прозвище, фамилия фиксируют в памяти народов общественно-исторические факты, культурные традиции и обычаи предков. Обратимся к некоторым фамилиям, наиболее часто встречающимся в Воронежской области.

Анохин. Возможно, в основе этой фамилии лежит прозвище от диалектного *Ано́ха*. Словарь русских народных говоров (СРНГ) отмечает лексему *ано́ха* с таким толкованием: “О простофиле, дураке, глупце. Пошло на свете плохо: стал указчиком Аноха. Аноха Аноху да впряг в соху” [1. Вып. 1]. В “Словаре воронежских говоров” эта лексема имеет значение: “простак, дурачок” [2. Вып. 1].

Бараков. В основе антропонима прозвище *Барак* из лексемы *барáк* “балаган, шалаш, временное, легкое строение для размещения войск или рабочих”; в донских говорах “то же, что буерак” [3]; *астрх.* и *сар.* буерак, которое произносили как *барак*, называя так овраги [4. Т. I]. По мнению Е.Н. Поляковой, фамилию мог получить человек от прозвища *Барак*, возможно, связанного со словом *барак* – заросли корявого кустарника, черемухи на сырой местности [5. С. 37–38].

Бердник. Фамилия *Бердник* происходит от прозвища *Бердник* – мастер, делающий *бе́рда* (деталь ткацкого стана) или сам ткацкий стан (раннее упоминание – 1647 г.) [5. С. 49]. “Словарь воронежских говоров” фиксирует лексемы *берда* “часть ткацкого стана, гребень”; *бердо* (*бе́рда*) “часть ткацкого стана, гребень”; “вал ткацкого стана, на который наматывается пряжа”; “домотканый холст”. Кроме этого *бердо* может означать и “часть руки от кисти до локтя”, “голень” [2. С. 97–98].

Можно предположить, что прозвище *Бердник* связано с обозначением человека по распространенной в XIX веке профессии.

Болдырев. Прозвище *Болдырь* и фамилия *Болдырев* возникли в XV–XVII веках. По мнению В.Ф. Житникова, это слово – старый монголизм в русском языке [6. С. 136]. Логично предположить, что история подобной фамилии берет начало от слова *болдырь*, не только упомянутого в СРНГ, но и имеющего разветвленную семантическую структуру: *болдάρь* – “В крестьянской избе – дымовая труба в сенях, сплетенная из хвороста и обмазанная глиной. *Курск.*”; “Бугор, возвышенность, курган. *Тобол., Тюмен.*”; “Нарыв, чирей, опухоль на коже. *Арх., Сев.-Двин.*”; “Ребенок, рожденный от смешанного брака русского с лопаркой или ненкой, вообще с женщиной другой национальности; метис. *Перм., Астрх., Оренб, Арх., Сиб.*”; “Житель азиатской части, принявший православие. *Урал.*”; “Животное, полученное от скрещивания двух видов или пород. *Астрх.*”; “Дурак, болван, глупец. *Терск.*” [1. Вып. 3].

М. Фасмер приводил два значения лексемы *болдырь*: 1) ребенок от брака русского с лопаркой или самоедкой [саамкой], ср. *калм. valdr* “ублюдок, незаконнорожденный”; 2) плетеная из хвороста и обмазанная глиной дымовая труба, выведенная из сеней, *курск.* [7. Т. II].

В.Ф. Житников считает, что “в древнерусском языке слово *болдырь* обозначало человека, родители которого принадлежали к разным народам” [6. С. 136].

По мнению И.А. Королевой, фамилия *Болдырев* восходит к апеллятиву *болдырь* – “человек смешанной национальности” [8. С. 144].

В пермских говорах есть фамилия *Булдырев*. Е.Н. Полякова полагает, что мотивами именования могло послужить прозвище *Булдырь* из слова *булдырь*, имевшего значения “волдырь, нарыв, опухоль”, “нездоровое место на теле”, “пузырь на воде” и тюркское слово *былдыр*, созвучное *Болдырь*, со значением “быстро и невнятно говорящий” [5. С. 63].

Кованев. Данная фамилия восходит к прозвищу от слова *ковань*, которое в XIX веке имело значение “кованные вещи, товар” [4. Т. II]. Здесь нельзя сделать однозначный вывод о том, кем был далекий предок человека по фамилии *Кованев*: кузнец или продавец ковани, то есть кованых изделий.

Кравцов, Кравченко. Лексемы *крове́ц* и *кра́вец* обозначали портного: *кроить, краять* (зап.) – выкраивать, изрезывать, резать в меру. По мнению Б.О. Унбегауна, подобная фамилия произошла от названия профессии: “Фамилии на *-цов/-цев* образуются от названий профессий на *-ец* с беглым *е*, отсутствующим в фамилии <...> *Кравцов* “портной” < *кроить*” [9. С. 99]. В ревизских сказках села Красное Воронежской губернии в начале XIX века записана фамилия *Кравченко* [10. Л. 856].

Прокудин. Одним из вероятных вариантов возникновения этой фамилии является прозвище *Прокуда* от глагола *прудить* “хитрить,

надувать, напроказить”, а *пракуда* – “хитрый” [11. С. 28]. Этимологический словарь М. Фасмера отмечает: *прокуда* – “дурацкая выходка, ущерб, вред; плут”, *прокудить*. – “проказить, бедокурить” (ср.: *кудь* – “злой дух, колдовство”), ц.-слав. *прокуда* обозначало “колдовство” [7. Т. III]. Как видим, в фамилии *Прокудин* не сохранилось аканье. Иногда писцы, регистрировавшие фамилии крестьян, старались писать “правильно”, исправляя на письме “акающее” (как им казалось) произношение фамилии. Можно предположить, что в данном случае перед нами результат такого написания фамилии.

Стромíлов. В словаре В.И. Даля находим слово *стрóмы* (мн.) “кровельные стропила”; “перила или балясины”; *стрóмкий* “кур., тмб., смб. высокий, крутой”; “громоздкий, высоким ворохом”; “влд.-прс. горячая, рьяная (о лошади)”; “пск. упрямый, упорный” [4. Т. IV]. Прилагательное *стромоткой* (твр., пад.) имеет значение “торопливый” [Там же]. Далее В.И. Даль рассуждал: “Слова эти напоминают *стремить*, а еще более *стромить*, млрс. втыкать, ставить торчмя” [Там же]. В статье “О наречиях русского языка” исследователь делает такой вывод: “Воронежская губерния весьма сходна с Курскою: Новохоперск, Павловск, Богучары по говору почти не отличаются от донских станиц... <...>. Сильное влияние малорусского наречия заметно по всей губернии, которая населилась при Алексее Михайловиче и Петре I: первый выселил туда мастеровых, военных людей, боярских детей; второй – матросов, стрельцов, рабочих, также боярских детей, отказывавшихся от службы; они впоследствии из однодворцев обращены на оклад, и все это смешалось с малорусами” [4. Т. I]. Поскольку Воронежская губерния к XIX веку состояла не только из великорусов, но и малороссов, численность которых к середине XIX века в Новохоперском уезде составляла более двадцати процентов от общего числа жителей [12. Т. IX], можно допустить вариант происхождения фамилии *Стромилов* от *стромить*.

В.Д. Бондалетов указывает, что к локальным некалендарным именам могло относиться имя *Стромило* (например, такое имя в XVI в. встречалось в Московском уезде) [13. С. 108], следовательно, нельзя исключать и происхождение фамилии *Стромилов* от некалендарного имени. Также фамилия *Стромилов* может восходить и к глаголу *срамить*, имевшему значения: “стыдить, позорить, бесчестить; приводить в стыд, усовещивать, устыжать и корить в чем”; “наругаться, позорно оскорбить; осрамлять или посрамлять” [4. Т. IV].

Чаплýгин. Видимо, в основе фамилии – прозвище *Ч(Ц)аплыга* (в воронежских говорах встречается мена *ц* на *ч*) < *цапать* – “спешно хватать или вырвать силою; украсть; хватить, треснуть, ударить; хватить, выпить; задевать, зацеплять или хватать, царапать”; *цапать грядки* – *ярс.* обрабатывать цапкою, киркой” [4. Т. IV]. Антропонимы *Чаплин*, *Чаплич*, *Чапурин*, *Чапурнов*, *Чапыжников* и *Чаплыгин* упоминаются в “Словаре древнерусских личных собственных имен” Н.М. Тупиковым [14.

С. 815], при этом отмечено, что последнее отчество-фамилия употребляется с 1616 года.

В XIX веке известны лексемы *ц(ч)апéльник* (*твр., рж.*), *ца́пальник* (*влд., кстр., тмб.*) – сковородник; *цаплáжка* (*тмб., пен.*) – деревянная чашка, ставчик [4. Т. IV].

С некоторой степенью вероятности можно предположить, что истоки фамилии *Чаплыгин* берут начало от глагола *ча́пать* – трогать, брать, хватать, цапать; черпать; качать, зыбать [4. Т. IV]. *Чаплыгин* < *Чаплыга* < *ча́пать* (*цапать*) [8. С. 164]. Существование сочетания пл в корне рассматриваемого антропонима можно объяснить историческим чередованием *n/пл*, возникшим в результате йотовой палатализации. Здесь же, в словаре, находим и подтверждение сказанному, так как В.И. Даль приводит толкование таких лексем: *чапля*, *чаплик*, *чапельник*, *чаплинник*. Слова *чапля/чаплюшка*, *чапельник*, *чаплинник* встречаются и на воронежской территории. Лексема *чапля* в воронежских говорах обозначает приспособление в виде длинной палки с железными креплениями для удержания сковороды и подачи ее в печь, а *чаплюшка* имеет значение “то, чем берут сковороду, то есть сковородник”: приспособление в виде небольшой по размеру палки с железным креплением для удержания сковороды.

В словаре В.И. Даля находим *ча(е)пыжник* “куст <...> частый кустарник, непроходимая чаща” и *чапыжиться* “*тмб.* надмеваться, чваниться, важничать собою; рядиться, щегольски одеваться”, фонетически близкие фамилии *Чаплыгин*. Очевидно, существовавшая ранее и утраченная в настоящее время лексема *ч(ц)аплыга* могла иметь несколько значений, поэтому в настоящее время нельзя сделать однозначный вывод о значении производящей основы.

Чумаков. Аппелятив *чумак* имеет несколько значений: “каз., *прм.* Целовальник, кабачник, сиделец в кабаке или помощник его; || *юж., нврс., сар., млрс.* Протяжной извозчик на волах; в былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль; <...> *пск.* Замарашка, чумазый” [4. Т. IV]. В этой связи можно предположить, что фамилия возникла от прозвища *Чумак*, восходящего к лексеме *чумак* во втором значении, поскольку она имеет помету *южное* и могла употребляться донскими и/или хоперскими казаками, жившими в селе Красном в XIX веке [10. Л. 833].

Шата́лов. Данная фамилия зафиксирована в 1658 году [14. С. 833]. С начала XVI века на Руси известны мужские имена *Шати́ло*, *Шату́ка*, *Шатько*, *Шатю́к*, несколько позже, в начале XVII века, употребляется антропоним *Шатай* [14. С. 437, 438]. Словарь В.И. Даля фиксирует слово *шата́ла* (*сиб.*)/*шати́ла* (*арх.*) “шатун, кто шляется без дела”, *шати́ла* – “*кур.* егоза и суета, кто бегаёт взад и вперед” [4. Т. IV]. По мнению И.М. Ганжиной, подобные прозвища характеризуют поведение человека и восходят к нарицательному *шат* – “кто шатается без дела”,

“бродяга, беглый”, также прозвища могли восходить к диалектному *шатеть* – “дуреть, шалеть” [15. С. 560]. Поскольку имеем антропоним *Шаталов*, то можно предположить, что в его основе прозвище *Шатало*, восходящее к одному из указанных апеллятивов.

Шамонин. Как полагает И.М. Ганжина, фамилии из отчеств от прозвищ *Шамай*, *Шамашка*, *Шамеха*, *Шама*, *Шамка*, *Шам*, *Шамоха*, *Шамша*, *Шамишур*, *Шамыка*, *Шамыня* характеризовали людей по особенностям речи [15. С. 556]. Словарь Н.М. Тупикова зафиксировал однокоренное мужское имя *Шамак* (1506 г.) [14. С. 435]. Видимо, в основе фамилии *Шамонин* – древний антропоним *Шамоня*. Забытые глаголы *шамонить*, *шаминить*, *шамать* в значении “говорить как беззубый” [4. Т. IV] в настоящее время в литературном языке не сохранились. На периферии лексической системы находится только слово *шамать* (его можно отнести к грубой просторечной лексике). В современном русском литературном языке в значении “говорить невнятно, пришепетывая” употребляется глагол *шамкать* [16. С. 891], а остатком от древнего *шамонить* является антропоним *Шамонин*, бытующий в Воронежской области.

Шевченко, *Шевцов*. В основе фамилий – профессиональная деятельность человека: *швец* “влд., тмб., ярс., вят., прм., нвг., орл. портной, кто шьет одежду; простой, крестьянский портной; швец более шубник, тулупник, сапожник” [4. Т. IV]. Подобные фамилии задокументированы в XVI–XVII веках [15. С. 562]. В XIX веке фамилия *Шевцов* была распространена в селе Красном Воронежской губернии [10. Лл. 900, 909, 913].

Литература

1. Словарь русских народных говоров. М.–Л; СПб., 1965–.
2. Словарь воронежских говоров. Воронеж, 2004.
3. Словарь донских говоров. Ростов-на-Дону, 1975.
4. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.
5. *Полякова Е.Н.* Словарь пермских фамилий. Пермь, 2005.
6. *Житников В.Ф.* Диалектизмы в фамилиях // Русская речь. 1989. № 1. С. 131–138.
7. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964.
8. *Королева И.А.* Словарь фамилий Смоленского края. Смоленск, 2006.
9. *Унбегаун Б.О.* Русские фамилии. М., 1989.
10. Главный архив Воронежской области. Ф. И-18, оп. 1, д. 205. Ревизские сказки по г. Новохоперску и Новохоперскому уезду Воронежской губернии. 10 марта – 6 августа 1816 г. С. Красное. Лл. 716–915.

11. *Путинцев А.* Материалы для изучения Воронежских говоров // Памятная книжка Воронежской губернии. 1905 г. Составлена под ред Д.Г. Тюменева. Издание Воронежского Губернского Статистического Комитета. Воронеж, 1905.
12. Списки населения мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. Т. IX. Воронежская губерния. Санкт-Петербург, 1865.
13. *Бондалетов В.Д.* Русская ономастика. М., 1983.
14. *Тупиков Н.М.* Словарь древнерусских личных собственных имен. Вст. ст. и под. текста В.М. Воробьева. М., 2004.
15. *Ганжина И.М.* Словарь современных русских фамилий. М., 2001.
16. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 2001.

*Борисоглебск,
Воронежской обл.*

“Я расскажу тебе про Магадан...”

© О. Н. ЕВСЮКОВА

Известно, что названия многих российских селений, поселков, городов, расположенных вблизи реки, залива или моря, зачастую мотивированы гидронимами. Эта закономерность наблюдается и в названии города *Магадана*.

Современный Магадан расположен “на побережье Тауйской губы Охотского моря, на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком, – с выходом в бухты Нагаева и Гертнера... Речка Магаданка, протекающая с запада на восток и впадающая в бухту Гертнера, как бы делит город на две части. На ее правом берегу расположена основная часть построек...” [1].

Строительство населенного пункта, который со временем превратился в город, началось в 1929 году, когда на берегу бухты Нагаева возник поселок Восточно-Эвенской (Нагаевской) культурной базы. В декабре 1930 года был образован Нагаевский рабочий поселковый совет, а затем, в 1931-м, поселок Нагаево стал административным центром незадолго до этого образованного Охотско-Эвенского национального округа. С 1932 года на территории современного города существовали два поселка – Нагаево и Магадан, обозначавшиеся в документах как *Нагаево-Магадан* или *Магадан-Нагаево* [2]. Позднее, в отчетном документе 1933 года руководство Дальстроя ходатайствовало о повышении статуса Нагаево-Магадана: «...Все это делает Нагаево-Магадан населенным пунктом городского типа, почему Дирекцией возбуждено ходатайство о присвоении поселку названия – город “МОНГОДАН” (тунгусское – “Наносы моря”, “Магадан” – искаженное русскими название)» [3]. Однако официально Магадан стал городом только в 1939 году.

Впервые топоним *Магадан* фиксируется в документах 30-х годов, где дается его толкование, которое, скорее всего, отражало объяснение названия, бытовавшее в то время среди местных жителей. В дальнейшем этимологическая версия, возводящая *Магадан* к эвенскому слову *монгодан*, “наносы моря”, или “морские наносы” получила отражение в различных публицистических изданиях. Немаловажно то, что это толкование вошло в топонимические издания. В частности, оно было включено в ряд топонимических словарей и справочников, например: “Географические имена. Топонимический словарь” М.Н. Мельхе-ева (1961); “Краткий топонимический словарь” В.А. Никонова (1966) и

мн. др. Так, геолог П.В. Бабкин в своем словаре "Кто? Когда? Почему?" писал: «Предполагают, что это название произошло от эвенского слова "монгодан", что значит "морские наносы"» [4].

Несмотря на широкое распространение этого толкования в литературе, первое развернутое объяснение топонима *Магадан* было предложено только в 1970-х годах эвенской писательницей М.Н. Амамич: «По-моему, слово "Магадан" следует объяснять следующим образом. Принесенные морскими приboями или паводковыми водами сухое дерево, палка, называется *монг*, если их много (куча) – то *монгали*. В эвенской грамматике есть суффикс *-дан*, который означает применение, использование вещи, предмета, животного человеком с определенной целью. Например, слово "дёлдан" – кинуть камнем, "орындан" – ехать на олене, то же на лошади – "мурындан" и т.д. Слово "монгадан" означает использование сухого дерева, палки в своих интересах. С прибытием строителей города было дано название молодому поселку по-русски – Магадан. Поскольку в эвенском языке буквы "нг" имеют носовое произношение, то этот звук упущен и заменен одной буквой "г". В настоящее время эвены, особенно пожилые, областной город называют по-своему – Монгадан. Так что Магадан – есть искаженное эвенское слово» [5].

Впоследствии этимологический комментарий М.Н. Амамич с некоторыми уточнениями вошел в новый справочник по региональной топонимии Б.Г. Щербинина и В.В. Леонтьева "Там, где геологи прошли". (Магадан, 1980). Авторы этого топонимического издания, опираясь на суждения исследователей Северо-Востока К.А. Новиковой, У.Г. Поповой и М.Н. Амамич, приводят следующее толкование: "Магадан – эвен. Монóдан, Мона́дан, где *монá* – "плавник", "валежник" и *-дан* – суффикс, в данном случае обозначающий "жилище из плавника". Конкретно это название относится к устью речки Магаданки, впадающей в бухту Гертнера, к ее низким берегам. Для мелководных бухт Охотского моря типичны плавниковые наносы в их вершинах. В связи с этим не лишено основания название, данное эвенами" [6]. Приведенное этимологическое толкование *Магадана* позже попало в "Топонимический словарь Северо-Востока СССР" [7] и стало считаться официальной версией происхождения названия, получив широкое распространение в краеведческой литературе.

Однако в 1990-е годы появились новые объяснения эвенского слова *монгодан*. Одно из них было предложено эвенкой М.А. Бех, уроженкой Северо-Эвенского района, в статье "Еще раз о происхождении названия...". Автор статьи, соглашаясь со всеми этапами лингвистического анализа слова *Магадан*, сделанного М.Н. Амамич, высказала возражение против общего его перевода: «Слово "монгодан" в эвенском языке существует и означает две продольные палки (из специально подобранных и высушенных берез), используемые при изготовлении оленьих

нарт. Они крепятся по бокам вдоль сиденья и служат для прочности нарт и удобства при сидении или устойчивого положения поклажи (примерно, как боковые борта кузова у грузового автомобиля)...» [8]. При этом М.А. Бех предложила достаточно образное видение физико-географических реалий *речки Магаданки*: «Если с устья бросим свой взор вверх вдоль речки, то увидим сходство местности (сама речка, ее прибрежная часть и сопки, расположенные вдоль нее), с оленьей нарттой. Сопки, холмы на обоих берегах речки как раз и представляют собой монгодан» (Там же). На наш взгляд, такое толкование, основанное на панорамном описании географического объекта, достаточно трудно признать ярким, отличительным и очевидным признаком речки Магаданки. Кроме того, следует принять во внимание то, что словари эвенского языка не фиксируют этого слова в описанном значении.

Другое направление в поисках толкования топонима *Магадан* предложила эвенка З.И. Бабцева, одна из старейшин областной Ассоциации народов Севера. По ее мнению, слово *монгодан* возводится к ритуальной фразе-заклинанию *Мо гадан* (описательно ее смысл можно передать так: «Чтоб вода взяла капельку, а вернула богатую добычу»), которую эвены произносят во время весеннего обряда перед выходом в море. Буквально фразу *Мо гадан* «вода взяла» З.И. Бабцева объясняет следующим образом: *мо* (*му*) – «вода», *гадан* – форма 3 л. ед.ч. глагола *гадай* «взять, брать» (ср.: *би гадим* – «я взяла, возьму»; *хи гадинри* – «ты взяла, возьмешь»; *нонгам гадан* – «он(а) взял(а), возьмет») [9]. Однако эта, несомненно, интересная версия тоже не представляется достаточным обоснованием топонима. Скорее, подобное объяснение следует относить к попыткам так называемой «народной этимологии», которая основывается, в первую очередь, на поиске созвучных слов.

Для сравнения версий, возводящих топоним *Магадан* к эвенскому слову *монгодан*, можно рассмотреть другие попытки объяснения названия города, накопленные в краеведческой литературе. Одной из наиболее популярных стала версия, изложенная в воспоминаниях колымского геолога И.И. Галченко. Ее суть заключается в том, что в конце XIX века в устье речки Магаданки поселился бедный эвен «Магда, что означает *трухлявый пенек*. Магда был настолько беден, что не имел своих оленей» [10]. Семья его питалась рыбой, морским зверем, обменивала нерпичий жир и нерпичьи шкуры на оленье мясо, изготавливала подошвы для торбазов. «Шли годы. Магда продолжал жить на берегу моря. Кочевые эвены дали речке имя первого здесь постоянного поселенца. Зимой мимо избушки проезжали на собаках жители поселков Ола и Тауйск. Они по-своему переименовали имя Магды, называя постаревшего хозяина избушки кто Магдыгой, кто Магдагой, кто Магаданом. Последнее слово закрепилось в записях, дав имя новому городу Магадану. Магда умер. Избушку его я видел осенью 1930 года» [Там же. С. 10].

История, изложенная И.И. Галченко, не находит подтверждения в других краеведческих источниках.

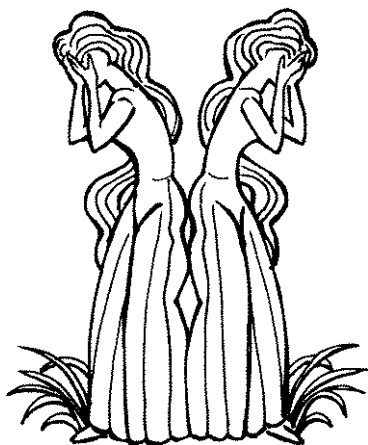
Относительно этой версии происхождения топонима *Магадан* было высказано немало критических замечаний. Еще в 1970-х годах М.Н. Амамич объясняла свое несогласие с этим толкованием: “На эвенском языке *маленький пенек* произносится – *мугдыкыккэн*. История нашего поколения знает существование так называемой *Сахарной головки*, расположенной недалеко от Олы, на берегу моря. Эвены называли ее *пнем* (*пень* по-эвенски – *мугдыкын*). Жителей у *Сахарной головки* в то время называли *мугдыкынкыр*. Таким образом, имеется известный отрыв слова *Магадан* от места, ибо *пень* находился далеко от реки Магаданки и города” [5. С. 4]. Действительно, лексикографические источники эвенского языка отмечают, что слово *пень* в различных говорах эвенского языка передается по-разному [11. Т. 1. С. 549]. Позже исследователь А.А. Бурыкин привел возражения: “Как известно, в топонимических легендах географические названия очень часто возводят именно к личным именам. Стоит указать и на то, что эвены, живущие в этих местах, носят христианские имена уже с начала XIX в., и предположение, что какие-то геологи в первой четверти XX в. могли встретить старика-эвена с нехристианским именем, маловероятно” [12. С. 98].

Очевидно, что целый ряд аргументов не позволяет считать этимологическую версию, рассказанную геологом И.И. Галченко, убедительным объяснением топонима *Магадан*. Однако именно это толкование Е.М. Поспелов отметил в “Школьном топонимическом словаре” как наиболее верное: “Наиболее правдоподобная версия гласит, что еще в прошлом веке здесь было стойбище эвена *Магда*, по имени которого и речка, в устье которой он жил, получила название Магаданка, а это название дало имя будущему городу” [13. С. 117]. На наш взгляд, историю об эвене Магде точнее было бы рассматривать все-таки не как этимологическую версию, а как топонимическую легенду.

Не менее критическое отношение вызывают версии происхождения названия *Магадан*, которые в последнее время предлагают увлеченные топонимикой жители города. По нашим наблюдениям, подобные толкования основываются на достаточно свободной интерпретации исторических и лингвистических фактов, что, как правило, выявляется при детальном анализе новых версий. Следует ли их рассматривать? Ответ на этот вопрос содержится, на наш взгляд, в словах одного из крупных исследователей топонимии В.А. Никонова: “Надо ли приводить ошибочные этимологии? Обязательно. Одни из них, будучи неверными, ценны как творчество народа, стремящегося осмыслить непонятное название. Другие – плод кабинетных измышлений. Но во всех случаях необходимо разъяснять ложность их, как и всяких антинаучных взглядов. Иначе они будут снова возникать и распространяться” [14. С. 9].

Литература

1. Магадан. Путеводитель-справочник. Магадан, 1989. С. 5.
2. Козлов А.Г. Магадан: История возникновения и развития. Ч. 1 (1929–1939). Магадан, 2002. С. 90.
3. Государственный архив Магаданской области. Ф.р. –23 сч., оп. 1, д. 45, л. 168.
4. Бабкин П. Кто? Когда? Почему? Происхождение названий на карте области. Магадан, 1965. С. 15.
5. Амамич М. Так почему же Магадан –Магадан? (Мнение читателя). Магаданский комсомолец. 1976. 18 дек.
6. Щербинин Б.Г., Леонтьев В.В. Там, где геологи прошли. Магадан, 1980. С. 86.
7. Леонтьев В.В., Новикова К.А. Топонимический словарь Северо-Востока СССР. Магадан, 1989.
8. Бех М. Еще раз о происхождении названия... Вечерний Магадан. 1998. 20 мар.
9. Райзман Д. Не просто имя – символ. Магаданская правда. 1994. 12 июля.
10. Галченко И.И. Геологи продолжают путь М., 1963.
11. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков: Материалы к этимологическому словарю. В 2 т. Л., 1975.
12. Бурыйкин А.А. Магадан // Русский язык в школе. 2003. № 2.
13. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. М., 1988.
14. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.



Жанр плача в поэзии Анны Ахматовой

© Е. В. КИРПИЧЕВА

Такой жанр традиционного русского народного творчества, как плач, стал важным источником вдохновения для Анны Ахматовой и нашел свое преломление в ее поэзии.

Причитание (плач) – архаичный жанр фольклора, связанный с погребальным обрядом [1]. В.Г. Базанов отмечает характерные признаки плачей: «По форме плач – это выстрадавшая и глубоко искренняя исповедь. Причитания можно рассматривать как особый род лирической поэзии, правда, лиризм их “жесткий”, не знающий успокоения, полный скорби, взволнованно-слезной патетики» [4].

Ахматова, лирике которой присущ высокий трагедийный пафос, неоднократно обращалась к народным причитаниям, каждый раз находя новые точки соприкосновения с этим жанром устного поэтического творчества. Об этой близости говорят даже названия стихотворений “И вот одна осталась я...” (1916), “Причитание” (1922), “Причитание” (1944).

Тип интонации народного причитания, приближающий некоторые стихи к речитативному фольклору, встречается у Ахматовой в разных формах. Особенно ясно эта интонация звучит в стихотворении на смерть А. Блока “А Смоленская нынче именинница...”:

...Принесли мы Смоленской заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, –
Александра, лебедя чистого.

Эмоциональная напряженность определяет языковую поэтику: едноточие, экспрессивные словообразования, использование аллегории (*Наше солнце, в муках погасшее*) и поэтического сравнения (*Александра, лебедя чистого*).

Посещение Анной Ахматовой Оптиной пустыни в 1922 году (вскоре после смерти Н. Гумилева) стало значительным событием в духовном самоопределении поэта. В стихотворении “Причитание” она отсылает к этому важному событию своей биографии, напоминая о революционном разорении страны, в том числе и Оптиной пустыни.

Господеви поклонитесь
Во святем дворе Его.
Спит юродивый на паперти,
На него глядит звезда.
И крылом задетый ангельским,
Колокол заговорил
Не набатным, грозным голосом,
А прощаясь навсегда.
И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим – в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна – в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить.
Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой обретенный
У Господнего крыльца.

Использованием в первой строке стихотворения такой формы интотекстуальности, как цитата из Псалтыри (“...поклонитесь Господеви во дворе святем Его” (Псалом XXVIII, 2 и XCV, 9), автор сознательно подчеркивает общность “своего” и “чужого” текстов, создавая впечатление стилиа причитания.

Возможность проецирования дат биографии и жизненных ситуаций Ахматовой на другие культурно-исторические события при помощи использования имен собственных выводят “Причитание” за рамки конкретного временного пространства. Вспомним, что Серафим, монах Саровской пустыни, канонизирован в 1903 году; Анна, жена великого князя тверского Михаила Ярославича, после казни мужа в 1318 году постриглась в монахини и переехала в Кашин к сыну, канонизирована в 1909 году. Таким образом, соотнесенность начала XX и начала XIV веков представляет собой “одно из колец возврата” символистской идеи “вечного возвращения”.

Люди Серебряного века жили с ощущением соприсутствия в их жизни других веков и культур.

Следы двух страшных войн XX века – чуть ли не на каждой странице стихов привыкшей к утратам, мужественно готовой к испытаниям Анны Ахматовой.

Трагедии, выпадавшие на долю народа, всегда воспринимались поэтессой как личные. Такова была ее позиция в период империалистической войны, когда она создает ряд стихотворений (“Июль 1914”, “Утешение”, “Молитва”), проникнутых искренней болью и состраданием, обретающих форму плачей и молитв. Картины народного горя, переживаемого ею (“Июль 1914”), написаны со щемящим душу лиризмом:

Можжевелика запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдаты,
Вдовий плач по деревне звенит.

Во время Великой Отечественной войны этот жанр вновь оказывается эмоционально и эстетически значимым для поэта. Плачи – специфически женская поэзия, поэтому они строятся как монолог от лица простой русской женщины, в чью жизнь вторглась война. Биографическая основа “плачей” Ахматовой делает причитание драматически насыщенным, исполненным проникновенного чувства. Вопленица обычно выступает как “истолковательница чужого горя”, и в этом смысле Ахматовой оказалась близка по духу поэтика именно этого фольклорного жанра. Процесс возрождения плача (причитания) в годы войны происходил потому, что он оказался той формой, которая могла выразить и вместить эмоции, понятные всему народу. Исполненное высокой патетики “Причитание” (1944) Ахматовой явилось поэтическим памятником погибшим ленинградцам:

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарюю. <...>
Я не взглядом, не намеком.
Я не словом, не попреком
Я земным поклоном
В поле зеленом
Помяну...

Стихотворение построено на традиционном для народной поэтики образе неизбывного горя, “кручинушки”.

Особое значение в причитаниях имеют мотивы доли-судьбы, горя, смерти, разлуки. Но вместе с тем причитание как жанр содержит опре-

деленность, конкретность, это лирический монолог о настоящем. В таком стилистическом ключе написано и ахматовское “Причитание”. “Вневременной” мотив беды приобретает локальную и временную соотнесенность: “Ленинградскую беду Руками не разведу”. Отталкиваясь от образности народной поговорки “Чужую беду – рукой разведу, ко своей – ума не приложу”, Ахматова создает образ народного горя одновременно и как своего собственного.

Как народная заплачка звучит стихотворение, посвященное ленинградским детям:

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!

Горячее сопереживание, сострадание делает такие стихи поэта подлинно народными.

Литература

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. М., 2002. С. 202.
2. Базанов В.Г. О социально-этической природе причитаний // Русская литература. 1964. № 4. С. 100.